АННА АНДРЕЕВНА АХМАТОВА (ГОРЕНКО)

“Я научилась просто, мудро жить…”

Я научилась просто, мудро жить,
Смотреть на небо и молиться Богу,
И долго перед вечером бродить,
Чтоб утомить ненужную тревогу.

Когда шуршат в овраге лопухи
И никнет гроздь рябины жёлто-красной,
Слагаю я весёлые стихи
О жизни тленной, тленной и прекрасной.

Я возвращаюсь. Лижет мне ладонь
Пушистый кот, мурлыкает умильней,
И яркий загорается огонь
На башенке озёрной лесопильни.

Лишь изредка прорезывает тишь
Крик аиста, слетевшего на крышу.
И если в дверь мою ты постучишь,
Мне кажется, я даже не услышу.

(1912)

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ БЛОК

“О, я хочу безумно жить…”

О, я хочу безумно жить:
Всё сущее – увековечить,
Безличное – вочеловечить,
Несбывшееся – воплотить!

Пусть душит жизни сон тяжёлый,
Пусть задыхаюсь в этом сне, -
Быть может, юноша весёлый
В грядущем скажет обо мне:

Простим угрюмство – разве это
Сокрытый двигатель его?
Он весь – дитя добра и света,
Он весь – свободы торжество!

(1914)

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН

“Капитанская дочка”

Береги честь смолоду.
Пословица

ГЛАВА I.
СЕРЖАНТ ГВАРДИИ

— Был бы гвардии он завтра ж капитан.
— Того не надобно; пусть в армии
послужит.
— Изрядно сказано! пускай его потужит…
. . . . . .
Да кто его отец?

Княжнин.

Отец мой Андрей Петрович Гринев в молодости своей служил при графе Минихе, и вышел в отставку премьер-майором в 17.. году. С тех пор жил он в своей Симбирской деревни, где и женился на девице Авдотьи Васильевне Ю., дочери бедного тамошнего дворянина. Нас было девять человек детей. Все мои братья и сестры умерли во младенчестве.

Матушка была еще мною брюхата, как уже я был записан в Семеновский полк сержантом, по милости маиора гвардии князя Б., близкого нашего родственника. Если бы паче всякого чаяния матушка родила дочь, то батюшка объявил бы куда следовало о смерти неявившегося сержанта и дело тем бы и кончилось. Я считался в отпуску до окончания наук. В то время воспитывались мы не по нонешнему. С пятилетнего возраста отдан я был на руки стремянному Савельичу, за трезвое поведение пожалованному мне в дядьки. Под его надзором на двенадцатом году выучился я русской грамоте и мог очень здраво судить о свойствах борзого кобеля. В это время батюшка нанял для меня француза, мосье Бопре, которого выписали из Москвы вместе с годовым запасом вина и прованского масла. Приезд его сильно не понравился Савельичу. «Слава богу» — ворчал он про себя — «кажется, дитя умыт, причесан, накормлен. Куда как нужно тратить лишние деньги, и нанимать мусье, как будто и своих людей не стало!»

Бопре в отечестве своем был парикмахером, потом в Пруссии солдатом, потом приехал в Россию pour Йtre outchitel, не очень понимая значения этого слова. Он был добрый малый, но ветрен и беспутен до крайности. Главною его слабостию была страсть к прекрасному полу; не редко за свои нежности получал он толчки, от которых охал по целым суткам. К тому же не был он (по его выражению) и врагом бутылки, т. е. (говоря по-русски) любил хлебнуть лишнее. Но как вино подавалось у нас только за обедом, и то по рюмочке, причем учителя обыкновенно и обносили, то мой Бопре очень скоро привык к русской настойке, и даже стал предпочитать ее винам своего отечества, как не в пример более полезную для желудка. Мы тотчас поладили, и хотя по контракту обязан он был учить меня по-французски, по-немецки и всем наукам, но он предпочел наскоро выучиться от меня кое-как болтать по-русски, — и потом каждый из нас занимался уже своим делом. Мы жили душа в душу. Другого ментора я и не желал. Но вскоре судьба нас разлучила, и вот по какому случаю:

Прачка Палашка, толстая и рябая девка, и кривая коровница Акулька как-то согласились в одно время кинуться матушке в ноги, винясь в преступной слабости и с плачем жалуясь на мусье, обольстившего их неопытность. Матушка шутить этим не любила, и пожаловалась батюшке. У него расправа была коротка. Он тотчас потребовал каналью француза. Доложили, что мусье давал мне свой урок. Батюшка пошел в мою комнату. В это время Бопре спал на кровати сном невинности. Я был занят делом. Надобно знать, что для меня выписана была из Москвы географическая карта. Она висела на стене безо всякого употребления и давно соблазняла меня шириною и добротою бумаги. Я решился сделать из нее змей, и пользуясь сном Бопре, принялся за работу. Батюшка вошел в то самое время, как я прилаживал мочальный хвост к Мысу Доброй

Надежды. Увидя мои упражнения в географии, батюшка дернул меня за ухо, потом подбежал к Бопре, разбудил его очень неосторожно, и стал осыпать укоризнами. Бопре в смятении хотел было привстать, и не мог: несчастный француз был мертво пьян. Семь бед, один ответ. Батюшка за ворот приподнял его с кровати, вытолкал из дверей, и в тот же день прогнал со двора, к неописанной радости Савельича. Тем и кончилось мое воспитание.

Я жил недорослем, гоняя голубей и играя в чахарду с дворовыми мальчишками. Между тем минуло мне шестнадцать лет. Тут судьба моя переменилась.

Однажды осенью матушка варила в гостиной медовое варенье а я, облизываясь, смотрел на кипучие пенки. Батюшка у окна читал Придворный Календарь, ежегодно им получаемый. Эта книга имела всегда сильное на него влияние: никогда не перечитывал он ее без особенного участия, и чтение это производило в нем всегда удивительное волнение желчи. Матушка, знавшая наизусть все его свычаи и обычаи, всегда старалась засунуть несчастную книгу как можно подалее, и таким образом Придворный Календарь не попадался ему на глаза иногда по целым месяцам. Зато, когда он случайно его находил, то бывало по целым часам не выпускал уж из своих рук. Итак батюшка читал Придворный Календарь, изредко пожимая плечами и повторяя вполголоса: «Генерал-поручик!.. Он у меня в роте был сержантом!… Обоих российских орденов кава-лер!.. А давно ли мы…» Наконец батюшка швырнул календарь на диван, и погрузился в задумчивость, не предвещавшую ничего доброго.

Вдруг он обратился к матушке: «Авдотья Васильевна, а сколько лет Петруше?»

— Да вот пошел семнадцатый годок, — отвечала матушка. — Петруша родился в тот самый год, как окривела тетушка Настасья Гарасимовна, и когда еще…

«Добро» — прервал батюшка, — «пора его в службу. Полно ему бегать по девичьим, да лазить на голубятни».

Мысль о скорой разлуке со мною так поразила матушку, что она уронила ложку в кастрюльку, и слезы потекли по ее лицу. Напротив того трудно описать мое восхищение. Мысль о службе сливалась во мне с мыслями о свободе, об удовольствиях петербургской жизни. Я воображал себя офицером гвардии, что по мнению моему было верьхом благополучия человеческого.

Батюшка не любил ни переменять свои намерения, ни откладывать их исполнение. День отъезду моему был назначен. Накануне батюшка объявил, что намерен писать со мною к будущему моему начальнику, и потребовал пера и бумаги.

«Не забудь, Андрей Петрович», — сказала матушка — «поклониться и от меня князю Б.; я-дескать надеюсь, что он не оставит Петрушу своими милостями».

— Что за вздор! — отвечал батюшка нахмурясь. — К какой стати стану я писать к князю Б.?

«Да ведь ты сказал, что изволишь писать к начальнику Петруши».

— Ну, а там что?

«Да ведь начальник Петрушин — князь Б. Ведь Петруша записан в Семеновский полк».

— Записан! А мне какое дело, что он записан? Петруша в Петербург не поедет. Чему научится он служа в Петербурге? мотать да повесничать? Нет, пускай послужит он в армии, да потянет лямку, да понюхает пороху, да будет солдат, а не шаматон. Записан в гвардии! Где его пашпорт? подай его сюда.

Матушка отыскала мой паспорт, хранившийся в ее шкатулке вместе с сорочкою, в которой меня крестили, и вручила его батюшке дрожащею рукою. Батюшка прочел его со вниманием, положил перед собою на стол, и начал свое письмо.

Любопытство меня мучило: куда ж отправляют меня, если уж не в Петербург? Я не сводил глаз с пера батюшкина, которое двигалось довольно медленно. Наконец он кончил, запечатал письмо в одном пакете с паспортом, снял очки, и подозвав меня, сказал: «Вот тебе письмо к Андрею Карловичу Р., моему старинному товарищу и другу. Ты едешь в Оренбург служить под его начальством».

Итак все мои блестящие надежды рушились! Вместо веселой петербургской жизни ожидала меня скука в стороне глухой и отдаленной. Служба, о которой за минуту думал я с таким восторгом, показалась мне тяжким несчастием. Но спорить было нечего. На другой день по утру

подвезена была к крыльцу дорожная кибитка; уложили в нее чамодан, погребец с чайным прибором и узлы с булками и пирогами, последними знаками домашнего баловства. Родители мои благословили меня. Батюшка сказал мне: «Прощай, Петр. Служи верно, кому присягнешь; слушайся начальников; за их лаской не гоняйся; на службу не напрашивайся; от службы не отговаривайся; и помни пословицу: береги платье с нову, а честь с молоду». Матушка в слезах наказывала мне беречь мое здоровье, а Савельичу смотреть за дитятей. Надели на меня зайчий тулуп, а сверху лисью шубу. Я сел в кибитку с Савельичем, и отправился в дорогу, обливаясь слезами.

В ту же ночь приехал я в Симбирск, где должен был пробыть сутки для закупки нужных вещей, что и было поручено Савельичу. Я остановился в трактире. Савельич с утра отправился по лавкам. Соскуча глядеть из окна на грязный переулок, я пошел бродить по всем комнатам. Вошед в биллиардную, увидел я высокого барина, лет тридцати пяти, с длинными черными усами, в халате, с кием в руке и с трубкой в зубах. Он играл с маркером, который при выигрыше выпивал рюмку водки, а при проигрыше должен был лезть под биллиард на четверинках. Я стал смотреть на их игру. Чем долее она продолжалась, тем прогулки на четверинках становились чаще, пока наконец маркер остался под биллиардом. Барин произнес над ним несколько сильных выражений в виде надгробного слова, и предложил мне сыграть партию. Я отказался по неумению. Это показалось ему, невидимому, странным. Он поглядел на меня как бы с сожалением; однако мы разговорились. Я узнал, что его зовут Иваном Ивановичем Зуриным, что он ротмистр гусарского полку и находится в Симбирске при приеме рекрут, а стоит в трактире. Зурин пригласил меня отобедать с ним вместе чем бог послал, по-солдатски. Я с охотою согласился. Мы сели за стол. Зурин пил много и потчивал и меня, говоря, что надобно привыкать ко службе; он рассказывал мне армейские анекдоты, от которых я со смеху чуть не валялся, и мы встали изо стола совершенными приятелями. Тут вызвался он выучить меня играть на биллиарде. «Это» — говорил он — «необходимо для нашего брата служивого. В походе, например, придешь в местечко — чем прикажешь заняться? Ведь не все же бить жидов. Поневоле пойдешь в трактир и станешь играть на биллиарде; а для того надобно уметь играть!» Я совершенно был убежден, и с большим прилежанием принялся за учение. Зурин громко ободрял меня, дивился моим быстрым успехам, и после нескольких уроков, предложил мне играть в деньги, по одному грошу, не для выигрыша, а так, чтоб только не играть даром, что, по его словам, самая скверная привычка. Я согласился и на то, а Зурин велел подать пуншу и уговорил меня попробовать, повторяя, что к службе надобно мне привыкать; а без пуншу, что и служба! Я послушался его. Между тем игра наша продолжалась. Чем чаще прихлебывал я от моего стакана, тем становился отважнее. Шары поминутно летали у меня через борт; я горячился, бранил маркера, который считал бог ведает как, час от часу умножал игру, словом — вел себя как мальчишка, вырвавшийся на волю. Между тем время прошло незаметно. Зурин взглянул на часы, положил кий, и объявил мне, что я проиграл сто рублей. Это меня немножко смутило. Деньги мои были у Савельича. Я стал извиняться. Зурин меня прервал: «Помилуй! Не изволь и беспокоиться. Я могу и подождать, а покаместь поедем к Аринушке».

Что прикажете? День я кончил так же беспутно, как и начал. Мы отужинали у Аринушки. Зурин поминутно мне подливал, повторяя, что надобно к службе привыкать. Встав изо стола, я чуть держался на ногах; в полночь Зурин отвез меня в трактир. Савельич встретил нас на крыльце. Он ахнул, увидя несомненные признаки моего усердия к службе. «Что это, сударь, с тобою сделалось?» — сказал он жалким голосом, «где ты это нагрузился? Ахти господи! отроду такого греха не бывало!» — Молчи, хрыч! — отвечал я ему, запинаясь; — ты верно пьян, пошел спать… и уложи меня.

На другой день я проснулся с головною болью, смутно припоминая себе вчерашние происшедствия. Размышления мои прерваны были Савельичем, вошедшим ко мне с чашкою чая. «Рано, Петр Андреич», — сказал он мне, качая головою — «рано начинаешь гулять. И в кого ты пошел? Кажется, ни батюшка, ни дедушка пьяницами не бывали; о матушке и говорить нечего: отроду, кроме квасу» в рот ничего не изволила брать. А кто всему виноват? проклятый мусье. То и дело, бывало к Антипьевне забежит: «Мадам, же ву при, водкю». Вот тебе и же ву при! Нечего

сказать: добру наставил, собачий сын. И нужно было нанимать в дядьки басурмана, как будто у барина не стало и своих людей!»

Мне было стыдно. Я отвернулся и сказал ему: Поди вон, Савельич; я чаю не хочу. Но Савельича мудрено было унять, когда бывало примется за проповедь. «Вот видишь ли, Петр Андреич, каково подгуливать. И головке-то тяжело, и кушать-то не хочется. Человек пьющий ни на что негоден… Выпей-ка огуречного рассолу с медом, а всего бы лучше опохмелиться полстаканчиком настойки Не прикажешь ли?»

В это время мальчик вошел, и подал мне записку от И. И. Зурина. Я развернул ее и прочел следующие строки:

«Любезный Петр Андреевич, пожалуйста пришли мне с моим мальчиком сто рублей, которые ты мне вчера проиграл. Мне крайняя нужда в деньгах.

Готовый ко услугам

I>Иван Зурин».

Делать было нечего. Я взял на себя вид равнодушный, и обратясь к Савельичу, который был и денег и белья и дел моих рачитель, приказал отдать мальчику сто рублей. «Как! зачем?» — спросил изумленный Савельич. — Я их ему должен — отвечал я со всевозможной холодностию. — «Должен!» — возразил Савельич, час от часу приведенный в большее изумление; — «да когда же, сударь, успел ты ему задолжать? Дело что-то не ладно. Воля твоя, сударь, а денег я не выдам».

Я подумал, что если в сию решительную минуту не переспорю упрямого старика, то уж в последствии времени трудно мне будет освободиться от его опеки, и взглянув на него гордо, сказал: — Я твой господин, а ты мой слуга. Деньги мои. Я их проиграл, потому что так мне вздумалось. А тебе советую не умничать, и делать то что тебе приказывают.

Савельич так был поражен моими словами, что сплеснул руками и остолбенел. — Что же ты стоишь! — закричал я сердито. Савельич заплакал. «Батюшка Петр Андреич», — произнес он дрожащим голосом — «не умори меня с печали. Свет ты мой! послушай меня, старика: напиши этому разбойнику, что ты пошутил, что у нас и денег-то таких не водится. Сто рублей! Боже ты милостивый! Скажи, что тебе родители крепко на крепко заказали не играть, окроме как в орехи…» — Полно врать, — прервал я строго, — подавай сюда деньги, или я тебя в зашеи прогоню.

Савельич поглядел на меня с глубокой горестью и пошел за моим долгом. Мне было жаль бедного старика; но я хотел вырваться на волю и доказать, что уж я не ребенок. Деньги были доставлены Зурину. Савельич поспешил вывезти меня из проклятого трактира. Он явился с известием, что лошади готовы. С неспокойной совестию и с безмолвным раскаянием выехал я из Симбирска, не простясь с моим учителем и не думая с ним уже когда-нибудь увидеться.

ГЛАВА II.
ВОЖАТЫЙ

Сторона ль моя, сторонушка,
Сторона незнакомая!
Что не сам ли я на тебя зашел,
Что не добрый ли да меня конь завез:
Завезла меня, доброго молодца,
Прытость, бодрость молодецкая,
И хмелинушка кабацкая.

Старинная песня

Дорожные размышления мои были не очень приятны. Проигрыш мой, по тогдашним ценам, был немаловажен. Я не мог не признаться в душе, что поведение мое в Симбирском трактире было глупо, и чувствовал себя виноватым перед Савельичем. все это меня мучило. Старик угрюмо сидел на облучке, отворотясь от меня, и молчал, изредка только покрякивая. Я непременно хотел с ним

помириться, и не знал с чего начать. Наконец я сказал ему: «Ну, ну, Савельич! полно, помиримся, виноват; вижу сам, что виноват. Я вчера напроказил, а тебя напрасно обидел. Обещаюсь вперед вести себя умнее и слушаться тебя. Ну, не сердись; помиримся».

— Эх, батюшка Петр Андреич! — отвечал он с глубоким вздохом. — Сержусь-то я на самого себя; сам я кругом виноват. Как мне было оставлять тебя одного в трактире! Что делать? Грех попутал: вздумал забрести к дьячихе, повидаться с кумою. Так-то: зашел к куме, да засел в тюрьме. Беда да и только! Как покажусь я на глаза господам? что скажут они, как узнают, что дитя пьет и играет.

Чтоб утешить бедного Савельича, я дал ему слово впредь без его согласия не располагать ни одною копейкою. Он мало-по-малу успокоился, хотя все еще изредка ворчал про себя, качая головою: «Сто рублей! легко ли дело!»

Я приближался к месту моего назначения. Вокруг меня простирались печальные пустыни, пересеченные холмами и оврагами. все покрыто было снегом. Солнце садилось. Кибитка ехала по узкой дороге, или точнее по следу, проложенному крестьянскими санями. Вдруг ямщик стал посматривать в сторону, и наконец, сняв шапку, оборотился ко мне и сказал: «Барин, не прикажешь ли воротиться?»

— Это зачем?

«Время ненадежно: ветер слегка подымается; — вишь, как он сметает порошу».

— Что ж за беда!

«А видишь там что?» (Ямщик указал кнутом на восток.)

— Я ничего не вижу, кроме белой степи да ясного неба.

«А вон — вон: это облачко».

Я увидел в самом деле на краю неба белое облачко, которое принял было сперва за отдаленный холмик. Ямщик изъяснил мне, что облачко предвещало буран.

Я слыхал о тамошних мятелях, и знал, что целые обозы бывали ими занесены. Савельич, согласно со мнением ямщика, советовал воротиться. Но ветер показался мне не силен; я понадеялся добраться заблаговременно до следующей станции, и велел ехать скорее.

Ямщик поскакал; но все поглядывал на восток. Лошади бежали дружно. Ветер между тем час от часу становился сильнее. Облачко обратилось в белую тучу, которая тяжело подымалась, росла, и постепенно облегала небо. Пошел мелкий снег — и вдруг повалил хлопьями. Ветер завыл; сделалась мятель. В одно мгновение темное небо смешалось со снежным морем. все исчезло. «Ну барин», — закричал ямщик — «беда: буран!»…

Я выглянул из кибитки: все было мрак и вихорь. Ветер выл с такой свирепой выразительностию, что казался одушевленным; снег засыпал меня и Савельича; лошади шли шагом — и скоро стали.

— «Что же ты не едешь?» — спросил я ямщика с нетерпением. — «Да что ехать? — отвечал он, слезая с облучка; невесть и так куда заехали: дороги нет, и мгла кругом. — Я стал было его бранить. Савельич за него заступился: „И охота было не слушаться“ — говорил он сердито — „воротился бы на постоялый двор, накушался бы чаю, почивал бы себе до утра, буря б утихла, отправились бы далее. И куда спешим? Добро бы на свадьбу!“ — Савельич был прав. Делать было нечего. Снег так и валил. Около кибитки подымался сугроб. Лошади стояли, понуря голову и изредка вздрагивая. Ямщик ходил кругом, от нечего делать улаживая упряжь. Савельич ворчал; я глядел во все стороны, надеясь увидеть хоть признак жила или дороги, но ничего не мог различить, кроме мутного кружения мятели… Вдруг увидел я что-то черное. „Эй, ямщик!“ — закричал я — „смотри: что там такое чернеется?“ Ямщик стал всматриваться. — А бог знает, барин, — сказал он, садясь на свое место: — воз не воз, дерево не дерево, а кажется, что шевелится. Должно быть, или волк или человек.

Я приказал ехать на незнакомый предмет, который тотчас и стал подвигаться нам навстречу. Через две минуты мы поравнялись с человеком. «Гей, добрый человек!» — закричал ему ямщик. — «Скажи, не знаешь ли где дорога?»

— Дорога-то здесь; я стою на твердой полосе, — отвечал дорожный, — да что толку?

— Послушай, мужичок, — сказал я ему — знаешь ли ты эту сторону? Возьмешься ли ты довести меня до ночлега?

— «Сторона мне знакомая» — отвечал дорожный — «слава богу, исхожена изъезжена вдоль и поперег. Да вишь какая погода: как раз собьешься с дороги. Лучше здесь остановиться, да переждать, авось буран утихнет да небо прояснится: тогда найдем дорогу по звездам».

Его хладнокровие ободрило меня. Я уж решился, предав себя божией воле, ночевать посреди степи, как вдруг дорожный сел проворно на облучок и сказал ямщику: «Ну, слава богу, жило недалеко; сворачивай в право да поезжай». — А почему ехать мне в право? — спросил ямщик с неудовольствием. — Где ты видишь дорогу? Небось: лошади чужие, хомут не свой, погоняй не стой. — Ямщик казался мне прав. «В самом деле» — сказал я: — «почему думаешь ты, что жило не далече?» — А потому, что ветер оттоле потянул, — отвечал дорожный, — и я слышу, дымом пахнуло; знать, деревня близко. — Сметливость его и тонкость чутья меня изумили. Я велел ямщику ехать. Лошади тяжело ступали по глубокому снегу. Кибитка тихо подвигалась, то въезжая на сугроб, то обрушаясь в овраг и переваливаясь то на одну, то на другую сторону. Это похоже было на плавание судна по бурному морю. Савельич охал, поминутно толкаясь о мои бока. Я опустил цыновку, закутался в шубу и задремал, убаюканный пением бури и качкою тихой езды.

Мне приснился сон, которого никогда не мог я позабыть, и в котором до сих пор вижу нечто пророческое, когда соображаю с ним странные обстоятельства моей жизни. Читатель извинит меня: ибо вероятно знает по опыту, как сродно человеку предаваться суеверию, не смотря на всевозможное презрение к предрассудкам.

Я находился в том состоянии чувств и души, когда существенность, уступая мечтаниям, сливается с ними в неясных видениях первосония. Мне казалось, буран еще свирепствовал, и мы еще блуждали по снежной пустыне… Вдруг увидел я вороты, и въехал на барской двор нашей усадьбы. Первою мыслию моею было опасение, чтобы батюшка не прогневался на меня за невольное возвращение под кровлю родительскую, и не почел бы его умышленным ослушанием. С беспокойством я выпрыгнул из кибитки, и вижу: матушка встречает меня на крыльце с видом глубокого огорчения. «Тише», — говорит она мне — «отец болен при смерти и желает с тобою проститься». — Пораженный страхом, я иду за нею в спальню. Вижу, комната слабо освещена; у постели стоят люди с печальными лицами. Я тихонько подхожу к постеле; матушка приподымает полог и говорит: «Андрей Петрович, Петруша приехал; он воротился, узнав о твоей болезни; благослови его». Я стал на колени, и устремил глаза мои на больного. Что ж?… Вместо отца моего, вижу в постеле лежит мужик с черной бородою, весело на меня поглядывая. Я в недоумении оборотился к матушке, говоря ей: — Что это значит? Это не батюшка. И к какой мне стати просить благословения у мужика? — «все равно, Петруша», — отвечала мне матушка — «это твой посаженый отец; поцалуй у него ручку, и пусть он тебя благословит…» Я не соглашался. Тогда мужик вскочил с постели, выхватил топор из-за спины, и стал махать во все стороны. Я хотел бежать… и не мог; комната наполнилась мертвыми телами; я спотыкался о тела и скользил в кровавых лужах… Страшный мужик ласково меня кликал, говоря: «Не бойсь, подойди под мое благословение…» Ужас и недоумение овладели мною… И в эту минуту я проснулся; лошади стояли; Савельич дергал меня за руку, говоря: «Выходи сударь: приехали».

— Куда приехали? — спросил я, протирая глаза.

«На постоялый двор. Господь помог, наткнулись прямо на забор. Выходи, сударь, скорее, да обогрейся».

Я вышел из кибитки. Буран еще продолжался, хотя с меньшею силою. Было так темно, что хоть глаз выколи. Хозяин встретил нас у ворот, держа фонарь под полою, и ввел меня в горницу, тесную, но довольно чистую; лучина освещала ее. На стене висела винтовка и высокая казацкая шапка.

Хозяин, родом яицкий казак, казался мужик лет шестидесяти, еще свежий и бодрый. Савельич внес за мною погребец, потребовал огня, чтоб готовить чай, который никогда так не казался мне нужен. Хозяин пошел хлопотать.

— Где же вожатый? спросил я у Савельича.

«Здесь, ваше благородие», — отвечал мне голос сверху. Я взглянул на полати, и увидел черную бороду и два сверкающие глаза. — Что, брат, прозяб? — «Как не прозябнуть в одном худеньком армяке Был тулуп, да что греха таить? заложил вечор у цаловальника: мороз показался не велик». В эту минуту хозяин вошел с кипящим самоваром; я предложил вожатому нашему чашку чаю; мужик слез с полатей. Наружность его показалась мне замечательна: он был лет сорока, росту среднего, худощав и широкоплеч. В черной бороде его показывалась проседь; живые большие глаза так и бегали. Лицо его имело выражение довольно приятное, но плутовское. Волоса были обстрижены в кружок; на нем был оборванный армяк и татарские шаровары. Я поднес ему чашку чаю; он отведал и поморщился. «Ваше благородие, сделайте мне такую милость, — прикажите поднести стакан вина; чай не наше казацкое питье». Я с охотой исполнил его желание. Хозяин вынул из ставца штоф и стакан, подошел к нему, и взглянув ему в лицо: «Эхе» — сказал он — «опять ты в нашем краю! Отколе бог принес?» — Вожатый мой мигнул значительно и отвечал поговоркою: «В огород летал конопли клевал; швырнула бабушка камушком — да мимо. Ну, а что ваши?»

— Да что наши! — отвечал хозяин, продолжая иносказательный разговор. — Стали было к вечерни звонить, да попадья не велит: поп в гостях, черти на погосте. — «Молчи дядя», — возразил мой бродяга — «будет дождик, будут и грибки; а будут грибки, будет и кузов. А теперь (тут он мигнул опять) заткни топор за спину: лесничий ходит. Ваше благородие! за ваше здоровье!» — При сих словах он взял стакан, перекрестился и выпил одним духом. Потом поклонился мне, и воротился на полати.

Я ничего не мог тогда понять из этого воровского разговора, но после уж догадался, что дело шло о делах Яицкого войска, в то время только что усмиренного после бунта 1772 года. Савельич слушал с видом большого неудовольствия. Он посматривал с подозрением то на хозяина, то на вожатого. Постоялый двор, или, по тамошнему, умет, находился в стороне, в степи, далече от всякого селения, и очень походил на разбойническую пристань. Но делать было нечего. Нельзя было и подумать о продолжении пути. Беспокойство Савельича очень меня забавляло. Между тем я расположился ночевать и лег на лавку. Савельич решился убраться на печь; хозяин лег на полу. Скоро вся изба захрапела, и я заснул, как убитый.

Проснувшись поутру довольно поздно, я увидел, что буря утихла. Солнце сияло. Снег лежал ослепительной пеленою на необозримой степи. Лошади были запряжены. Я расплатился с хозяином, который взял с нас такую умеренную плату, что даже Савельич с ним не заспорил и не стал торговаться по своему обыкновению, и вчерашние подозрения изгладились совершенно из головы его. Я позвал вожатого, благодарил за оказанную помочь, и велел Савельичу дать ему полтину на водку. Савельич нахмурился. «Полтину на водку!» — сказал он, — «за что это? За то, что ты же изволил подвезти его к постоялому двору? Воля твоя, сударь: нет у нас лишних полтин. Всякому давать на водку, так самому скоро придется голодать». Я не мог спорить с Савельичем. Деньги, по моему обещанию, находились в полном его распоряжении. Мне было досадно однако ж, что не мог отблагодарить человека, выручившего меня, если не из беды, то по крайней мере из очень неприятного положения. Хорошо — сказал я хладнокровно; — если не хочешь дать полтину, то вынь ему что-нибудь из моего платья. Он одет слишком легко. Дай ему мой зайчий тулуп.

«Помилуй, батюшка Петр Андреич!» — сказал Савельич. — «Зачем ему твой зайчий тулуп? Он его пропьет, собака, в первом кабаке».

— Это, старинушка, уж не твоя печаль, — сказал мой бродяга, — пропью ли я или нет. Его благородие мне жалует шубу со своего плеча: его на то барская воля, а твое холопье дело не спорить и слушаться.

«Бога ты не боишься, разбойник!» — отвечал ему Савельич сердитым голосом. — «Ты видишь, что дитя еще не смыслит, а ты и рад его обобрать, простоты его ради. Зачем тебе барский тулупчик? Ты и не напялишь его на свои окаянные плечища».

— Прошу не умничать, — сказал я своему дядьке; — сейчас неси сюда тулуп.

«Господи владыко!» — простонал мой Савельич. — «Зайчий тулуп почти новешенький! и добро бы кому, а то пьянице оголелому!»

Однако зайчий тулуп явился. Мужичок тут же стал его примеривать. В самом деле тулуп, из которого успел и я вырости, был немножко для него узок. Однако он кое-как умудрился, и надел его, распоров по швам. Савельич чуть не завыл, услышав, как нитки затрещали. Бродяга был чрезвычайно доволен моим подарком. Он проводил меня до кибитки и сказал с низким поклоном: «Спасибо, ваше благородие! Награди вас господь за вашу добродетель. Век не забуду ваших милостей». — Он пошел в свою сторону, а я отправился далее, не обращая внимания на досаду Савельича, и скоро позабыл о вчерашней вьюге, о своем вожатом и о зайчьем тулупе.

Приехав в Оренбург, я прямо явился к генералу. Я увидел мужчину росту высокого, но уже сгорбленного старостию. Длинные волосы его были совсем белы. Старый полинялый мундир напоминал воина времен Анны Иоанновны, а в его речи сильно отзывался немецкий выговор. Я подал ему письмо от батюшки. При имени его он взглянул на меня быстро: «Поже мой!» — сказал он. — «Тавно ли, кажется, Андрей Петрович был еше твоих лет, а теперь вот уш какой у него молотец! Ах, фремя, фремя!» — Он распечатал письмо и стал читать его вполголоса, делая свои замечания. «Милостивый государь Андрей Карлович, надеюсь, что ваше превосходительство»… Это что за серемонии? Фуй, как ему не софестно! Конечно: дисциплина перво дело, но так ли пишут к старому камрад?.. «ваше превосходительство не забыло»… гм… и… когда… покойным фельдмаршалом Мин… походе… также и… Каролинку»… Эхе, брудер! так он еше помнит стары наши проказ? «Теперь о деле… К вам моего повесу»… гм… «держать в ежовых рукавицах»… Что такое ешевы рукавиц? Это должно быть русска поговорк… Что такое «дершать в ешевых рукавицах?» повторил он, обращаясь ко мне.

— Это значит, — отвечал я ему с видом как можно более невинным, — обходиться ласково, не слишком строго, давать побольше воли, держать в ежевых рукавицах.

«Гм, понимаю… „и не давать ему воли“… нет, видно ешевы рукавицы значит не то… „При сем… его паспорт“… Где ж он? А, вот… „отписать в Семеновский“… Хорошо, хорошо: все будет сделано… „Позволишь без чинов обнять себя и… старым товарищем и другом“ — а! наконец догадался… и прочая и прочая… Ну, батюшка, — сказал он, прочитав письмо и отложив в сторону мой паспорт — все будет сделано: ты будешь офицером переведен в ***полк, и чтоб тебе времени не терять, то завтра же поезжай в Белогорскую крепость, где ты будешь в команде капитана Миронова, доброго и честного человека. Там ты будешь на службе настоящей, научишься дисциплине. В Оренбурге делать тебе нечего; рассеяние вредно молодому человеку. А сегодня милости просим: отобедать у меня».

Час от часу не легче! подумал я про себя; к чему послужило мне то, что еще в утробе матери я был уже гвардии сержантом! Куда это меня завело? В полк и в глухую крепость на границу Киргиз-кайсацких степей!.. Я отобедал у Андрея Карловича, втроем с его старым адъютантом. Строгая немецкая экономия царствовала за его столом, и я думаю, что страх видеть иногда лишнего гостя за своею холостою трапезою был отчасти причиною поспешного удаления моего в гарнизон. На другой день я простился с генералом и отправился к месту моего назначения.

ГЛАВА III.
КРЕПОСТЬ

Мы в фортеции живем,
Хлеб едим и воду пьем;
А как лютые враги
Придут к нам на пироги,
Зададим гостям пирушку:
Зарядим картечью пушку.

Солдатская песня.

Старинные люди, мой батюшка.

Недоросль.

Белогорская крепость находилась в сорока верстах от Оренбурга. Дорога шла по крутому берегу Яика. Река еще не замерзала, и ее свинцовые волны грустно чернели в однообразных берегах, покрытых белым снегом. За ними простирались киргизские степи. Я погрузился в размышления, большею частию печальные. Гарнизонная жизнь мало имела для меня привлекательности. Я старался вообразить себе капитана Миронова, моего будущего начальника, и представлял его строгим, сердитым стариком, не знающим ничего, кроме своей службы, и готовым за всякую безделицу сажать меня под арест на хлеб и на воду. Между тем начало смеркаться. Мы ехали довольно скоро. — Далече ли до крепости? — спросил я у своего ямщика. «Недалече» — отвечал он. — «Вон уж видна». — Я глядел во все стороны, ожидая увидеть грозные бастионы, башни и вал; но ничего не видал, кроме деревушки, окруженной бревенчатым забором. С одной стороны стояли три или четыре скирда сена, полузанесенные снегом; с другой скривившаяся мельница, с лубочными крыльями, лениво опущенными. — Где же крепость? — спросил я с удивлением. — «Да вот она» — отвечал ямщик указывая на деревушку, и с этим словом мы в нее въехали. У ворот увидел я старую чугунную пушку; улицы были тесны и кривы; избы низки и большею частию покрыты соломою. Я велел ехать к коменданту и через минуту кибитка остановилась перед деревянным домиком, выстроенным на высоком месте, близ деревянной же церкви.

Никто не встретил меня. Я пошел в сени и отворил дверь в переднюю. Старый инвалид, сидя на столе, нашивал синюю заплату на локоть зеленого мундира. Я велел ему доложить обо мне. «Войди, батюшка», — отвечал инвалид: — «наши дома». Я вошел в чистенькую комнатку, убранную по-старинному. В углу стоял шкаф с посудой; на стене висел диплом офицерский за стеклом и в рамке; около него красовались лубочные картинки, представляющие взятие Кистрина и Очакова, также выбор невесты и погребение кота. У окна сидела старушка в телогрейке и с платком на голове. Она разматывала нитки, которые держал, распялив на руках, кривой старичок в офицерском мундире. «Что вам угодно, батюшка?» — спросила она, продолжая свое занятие. Я отвечал, что приехал на службу и явился по долгу своему к господину капитану, и с этим словом обратился-было к кривому старичку, принимая его за коменданта; но хозяйка перебила затверженную мною речь. «Ивана Кузмича дома нет» — сказала она; — «он пошел в гости к отцу Герасиму; да все равно, батюшка, я его хозяйка. Прошу любить и жаловать. Садись, батюшка». Она кликнула девку и велела ей позвать урядника. Старичок своим одиноким глазом поглядывал на меня с любопытством. «Смею спросить» — сказал он; — «вы в каком полку изволили служить?» Я удовлетворил его любопытству. «А смею спросить» — продолжал он, — «зачем изволили вы перейти из гвардии в гарнизон?» — Я отвечал, что такова была воля начальства. «Чаятельно, за неприличные гвардии офицеру поступки» — продолжал неутомимый вопрошатель. — «Полно врать пустяки» — сказала ему капитанша: — «ты видишь, молодой человек с дороги устал; ему не до тебя… (держи-ка руки прямее…) А ты, мой батюшка», — продолжала она, обращаясь ко мне — «не печалься, что тебя упекли в наше захолустье. Не ты первый, не ты последний. Стерпится, слюбится. Швабрин Алексей Иваныч вот уж пятый год как к нам переведен за смертоубийство. Бог знает, какой грех его попутал; он, изволишь видеть, поехал за город с одним поручиком, да взяли с собою шпаги, да и ну друг в друга пырять; а Алексей Иваныч и заколол поручика, да еще при двух свидетелях! Что прикажешь делать? На грех мастера нет».

В эту минуту вошел урядник, молодой и статный казак. «Максимыч!» — сказала ему капитанша. — «Отведи г. офицеру квартиру, да почище». — «Слушаю, Василиса Егоровна», — отвечал урядник. — «Не поместить ли его благородие к Ивану Полежаеву?» — «Врешь, Максимыч», — сказала капитанша: — «у Полежаева и так тесно; он же мне кум и помнит, что мы его начальники. Отведи г. офицера… как ваше имя и отчество, мой батюшка? Петр Андреич?.. Отведи Петра Андреича к Семену Кузову. Он, мошенник, лошадь свою пустил ко мне в огород. Ну, что, Максимыч, все ли благополучно?»

— все, славу богу, тихо, — отвечал казак; — только капрал Прохоров подрался в бане с Устиньей Негулиной за шайку горячей воды.

«Иван Игнатьич! — сказала капитанша кривому старичку. — „Разбери Прохорова с Устиньей, кто прав, кто виноват. Да обоих и накажи. Ну, Максимыч, ступай себе с богом. Петр Андреич, Максимыч отведет вас на вашу квартиру“.

Я откланялся. Урядник привел меня в избу, стоявшую на высоком берегу реки, на самом краю крепости. Половина избы занята была семьею Семена Кузова, другую отвели мне. Она состояла из одной горницы довольно опрятной, разделенной надвое перегородкой. Савельич стал в ней распоряжаться; я стал глядеть в узенькое окошко. Передо мною простиралась печальная степь. Наискось стояло несколько избушек; по улице бродило несколько куриц старуха, стоя на крыльце с корытом, кликала свиней, которые отвечали ей дружелюбным хрюканьем. И вот в какой стороне осужден я был проводить мою молодость! Тоска взяла меня; я отошел от окошка и лег спать без ужина, несмотря на увещания Савельича, который повторял с сокрушением: «Господи владыко! ничего кушать не изволит! Что скажет барыня, коли дитя занеможет?»

На другой день по утру я только что стал одеваться, как дверь отворилась и ко мне вошел молодой офицер невысокого роста, с лицом смуглым и отменно некрасивым, но чрезвычайно живым. «Извините меня» — сказал он мне по-французски — «что я без церемонии прихожу с вами познакомиться. Вчера узнал я о вашем приезде; желание увидеть наконец человеческое лицо так овладело мною, что я не вытерпел. Вы это поймете, когда проживете здесь еще несколько времени». — Я догадался, что это был офицер, выписанный из гвардии за поединок. Мы тотчас познакомились. Швабрин был очень не глуп. Разговор его был остер и занимателен. Он с большой веселостию описал мне семейство коменданта, его общество и край, куда завела меня судьба. Я смеялся от чистого сердца, как вошел ко мне тот самый инвалид, который чинил мундир в передней коменданта, и от имени Василисы Егоровны позвал меня к ним обедать. Швабрин вызвался идти со мною вместе.

Подходя к комендантскому дому, мы увидели на площадке человек двадцать стареньких инвалидов с длинными косами и в треугольных шляпах. Они выстроены были во фрунт. Впереди стоял комендант, старик бодрый и высокого росту, в колпаке и в китайчатом халате. Увидя нас, он к нам подошел, сказал мне несколько ласковых слов и стал опять командовать. Мы остановились-было смотреть на учение; но он просил нас идти к Василисе Егоровне, обещаясь быть вслед за нами. «А здесь» — прибавил он — «нечего вам смотреть».

Василиса Егоровна приняла нас запросто и радушно, и обошлась со мною как бы век была знакома. Инвалид и Палашка накрывали стол. «Что это мой Иван Кузмич сегодня так заучился!» — сказала комендантша. — «Палашка, позови барина обедать. Да где же Маша?» — Тут вошла девушка лет осьмнадцати, круглолицая, румяная, с светлорусыми волосами, гладко зачесанными за уши, которые у ней так и горели. С первого взгляда она не очень мне понравилась. Я смотрел на нее с предубеждением: Швабрин описал мне Машу, капитанскую дочь, совершенною дурочкою. Марья Ивановна села в угол и стала шить. Между тем подали щи. Василиса Егоровна, не видя мужа, вторично послала за ним Палашку. «Скажи барину: гости-де ждут, щи простынут; слава богу, ученье не уйдет; успеет накричаться». — Капитан вскоре явился, сопровождаемый кривым старичком. «Что это, мой батюшка?» — сказала ему жена. — «Кушанье давным-давно подано, а тебя не дозовешься». — А слышь ты, Василиса Егоровна, — отвечал Иван Кузмич, — я был занят службой: солдатушек учил.

«И, полно!» — возразила капитанша. — «Только слава, что солдат учишь: ни им служба не дается, ни ты в ней толку не ведаешь. Сидел бы дома да богу молился; так было бы лучше. Дорогие гости, милости просим за стол».

Мы сели обедать. Василиса Егоровна не умолкала ни на минуту и осыпала меня вопросами: кто мои родители, живы ли они, где живут и каково их состояние? Услыша, что у батюшки триста душ крестьян, «легко ли!» — сказала она; — «ведь есть же на свете богатые люди! А у нас, мой батюшка, всего-то душ одна девка Палашка; да слава богу, живем помаленьку. Одна беда: Маша; девка на выданьи, а какое у ней приданое? частый гребень, да веник, да алтын денег (прости бог!), с чем в баню сходить. Хорошо, коли найдется добрый человек; а то сиди себе в девках вековечной невестою». — Я взглянул на Марью Ивановну; она вся покраснела, и даже слезы капнули на ее

тарелку. Мне стало жаль ее; и я спешил переменить разговор. — Я слышал, — сказал я довольно некстати, — что на вашу крепость собираются напасть башкирцы. — «От кого, батюшка, ты изволил это слышать?» — спросил Иван Кузмич. — Мне так сказывали в Оренбурге, — отвечал я. «Пустяки!» — сказал комендант. — «У нас давно ничего не слыхать. Башкирцы — народ напуганный, да и киргизцы проучены. Небось, на нас не сунутся; а насунутся, так я такую задам острастку, что лет на десять угомоню». — И вам не страшно, — продолжал я, обращаясь к капитанше, — оставаться в крепости, подверженной таким опасностям? — «Привычка, мой батюшка», — отвечала она. — «Тому лет двадцать как нас из полка перевели сюда, и не приведи господи, как я боялась проклятых этих нехристей! Как завижу, бывало, рысьи шапки, да как заслышу их визг, веришь ли, отец мой, сердце так и замрет! А теперь так привыкла, что и с места не тронусь, как придут нам сказать, что злодеи около крепости рыщут».

— Василиса Егоровна прехрабрая дама — заметил важно Швабрин. — Иван Кузмич может это засвидетельствовать.

«Да, слышь ты», — сказал Иван Кузмич: — «баба-то не робкого десятка».

— А Марья Ивановна? — спросил я: — так же ли смела, как и вы?

«Смела ли Маша?» — отвечала ее мать. — «Нет, Маша трусиха. До сих пор не может слышать выстрела из ружья: так и затрепещется. А как тому два года Иван Кузмич выдумал в мои именины палить из нашей пушки, так она, моя голубушка, чуть со страха на тот свет не отправилась. С тех пор уж и не палим из проклятой пушки».

Мы встали изо стола. Капитан с капитаншею отправились спать; а я пошел к Швабрину, с которым и провел целый вечер.

ГЛАВА IV.
ПОЕДИНОК

— Ин изволь, и стань же в позитуру.
Посмотришь, проколю как я твою фигуру!

Княжнин.

Прошло несколько недель, и жизнь моя в Белогорской крепости сделалась для меня не только сносною, но даже и приятною. В доме коменданта был я принят как родной. Муж и жена были люди самые почтенные. Иван Кузмич, вышедший в офицеры из солдатских детей, был человек необразованный и простой, но самый честный и добрый. Жена его им управляла, что согласовалось с его беспечностию. Василиса Егоровна и на дела службы смотрела, как на свои хозяйские, и управляла крепостию так точно, как и своим домком. Марья Ивановна скоро перестала со мною дичиться. Мы познакомились. Я в ней нашел благоразумную, и чувствительную девушку. Незаметным образом я привязался к доброму семейству, даже к Ивану Игнатьичу, кривому гарнизонному поручику, о котором Швабрин выдумал, будто бы он был в непозволительной связи с Василисой Егоровной, что не имело и тени правдоподобия: но Швабрин о том не беспокоился.

Я был произведен в офицеры. Служба меня не отягощала. В богоспасаемой крепости не было ни смотров, ни учений, ни караулов. Комендант по собственной охоте учил иногда своих солдат; но еще не мог добиться, чтобы все они знали, которая сторона правая, которая левая, хотя многие из них, дабы в том не ошибиться, перед каждым оборотом клали на себя знамение креста. У Швабрина было несколько французских книг. Я стал читать, и во мне пробудилась охота к литературе. По утрам я читал, упражнялся в переводах, а иногда и в сочинении стихов. Обедал почти всегда у коменданта, где обыкновенно проводил остаток дня, и куда вечерком иногда являлся отец Герасим с женою Акулиной Памфиловной, первою вестовщицею во всем околодке. С А. И. Швабриным, разумеется, виделся я каждый день; но час от часу беседа его становилась для меня менее приятною. Всегдашние шутки его насчет семьи коменданта мне очень не нравились, особенно колкие замечания о Марье Ивановне. Другого общества в крепости не было, но я другого и не желал.

Несмотря на предсказания, башкирцы не возмущались. Спокойствие царствовало вокруг нашей крепости. Но мир был прерван незапным междуусобием.

Я уже сказывал, что я занимался литературою. Опыты мои, для тогдашнего времени, были изрядны, и Александр Петрович Сумароков, несколько лет после, очень их похвалял. Однажды удалось мне написать песенку, которой был я доволен. Известно, что сочинители иногда, под видом требования советов, ищут благосклонного слушателя. Итак, переписав мою песенку, я понес ее к Швабрину, который один во всей крепости мог оценить произведения стихотворца. После маленького предисловия, вынул я из кармана свою тетрадку, и прочел ему следующие стишки:

Мысль любовну истребляя,
Тщусь прекрасную забыть,
И ах, Машу избегая,
Мышлю вольность получить!

Но глаза, что мя пленили,
Всеминутно предо мной;
Они дух во мне смутили,
Сокрушили мой покой.

Ты, узнав мои напасти,
Сжалься, Маша, надо мной;
Зря меня в сей лютой части,
И что я пленен тобой.

— Как ты это находишь? — спросил я Швабрина, ожидая похвалы, как дани, мне непременно следуемой. Но к великой моей досаде, Швабрин, обыкновенно снисходительный, решительно объявил, что песня моя нехороша.

— Почему так? — спросил я его, скрывая свою досаду.

«Потому» — отвечал он, — «что такие стихи достойны учителя моего, Василья Кирилыча Тредьяковского, и очень напоминают мне его любовные куплетцы»

Тут он взял от меня тетрадку и начал немилосердо разбирать каждый стих и каждое слово, издеваясь надо мной самым колким образом. Я не вытерпел, вырвал из рук его мою тетрадку и сказал, что уж отроду не покажу ему своих сочинений. Швабрин посмеялся и над этой угрозою. — «Посмотрим» — сказал он — «сдержишь ли ты свое слово: стихотворцам нужен слушатель, как Ивану Кузмичу графинчик водки перед обедом. А кто эта Маша, перед которой изъясняешься в нежной страсти и в любовной напасти? Уж не Марья ль Ивановна?

— Не твое дело, — отвечал я нахмурясь, — кто бы ни была эта Маша. Не требую ни твоего мнения, ни твоих догадок.

«Ого! Самолюбивый стихотворец и скромный любовник!» — продолжал Швабрин, час от часу более раздражая меня; — «но послушай дружеского совета: коли ты хочешь успеть, то советую действовать не песенками».

— Что это, сударь, значит? Изволь объясниться.

«С охотою. Это значит, что ежели хочешь, чтоб Маша Миронова ходила к тебе в сумерки, то вместо нежных стишков подари ей пару серег».

Кровь моя закипела. — А почему ты об ней такого мнения? — спросил я, с трудом удерживая свое негодование.

«А потому», — отвечал он с адской усмешкою, — «что знаю по опыту ее нрав и обычай».

— Ты лжешь, мерзавец! — вскричал я в бешенстве, — ты лжешь самым бесстыдным образом.

Швабрин переменился в лице. «Это тебе так не пройдет»— сказал он, стиснув мне руку. — «Вы мне дадите сатисфакцию».

— Изволь; когда хочешь! — отвечал я, обрадовавшись. В эту минуту я готов был растерзать его.

Я тотчас отправился к Ивану Игнатьичу, и застал его с иголкою в руках: по препоручению комендантши, он нанизывал грибы для сушенья на зиму. «А, Петр Андреич!» — сказал он увидя меня; — «добро пожаловать! Как это вас бог принес? по какому делу, смею спросить?» Я в коротких словах объяснил ему, что я поссорился с Алексеем Иванычем, а его, Ивана Игнатьича, прошу быть моим секундантом. Иван Игнатьич выслушал меня со вниманием, вытараща на меня свой единственный глаз. «Вы изволите говорить» — сказал он мне, — «что хотите Алексея Иваныча заколоть и желаете, чтоб я при том был свидетелем? Так ли? смею спросить».

— Точно так.

«Помилуйте, Петр Андреич! Что это вы затеяли! Вы с Алексеем Иванычем побранились? Велика беда! Брань на вороту не виснет. Он вас побранил, а вы его выругайте; он вас в рыло, а вы его в ухо, в другое, в третье — и разойдитесь; а мы вас уж помирим. А то: доброе ли дело заколоть своего ближнего, смею спросить? И добро б уж закололи вы его: бог с ним, с Алексеем Иванычем; я и сам до него не охотник. Ну, а если он вас просверлит? На что это будет похоже? Кто будет в дураках, смею спросить?»

Рассуждения благоразумного поручика не поколебали меня. Я остался при своем намерении. «Как вам угодно» — сказал Иван Игнатьич: — «делайте, как разумеете. Да зачем же мне тут быть свидетелем? К какой стати? Люди дерутся, что за невидальщина, смею спросить? Слава богу, ходил я под шведа и под турку: всего насмотрелся».

Я кое-как стал изъяснять ему должность секунданта, но Иван Игнатьич никак не мог меня понять. «Воля ваша» — сказал он. — «Коли уж мне и вмешаться в это дело, так разве пойти к Ивану Кузмичу да донести ему по долгу службы, что в фортеции умышляется злодействие противное казенному интересу: не благоугодно ли будет господину коменданту принять надлежащие меры…»

Я испугался и стал просить Ивана Игнатьича ничего не сказывать коменданту; насилу его уговорил; он дал мне слово, и я решился от него отступиться.

Вечер провел я, по обыкновению своему, у коменданта. Я старался казаться веселым и равнодушным, дабы не подать никакого подозрения и избегнуть докучных вопросов; но признаюсь, я не имел того хладнокровия, которым хвалятся почти всегда те, которые находились в моем положении. В этот вечер я расположен был к нежности и к умилению. Марья Ивановна нравилась мне более обыкновенного. Мысль, что, может быть, вижу ее в последний раз, придавала ей в моих глазах что-то трогательное. Швабрин явился тут же. Я отвел его в сторону и уведомил его о своем разговоре с Иваном Игнатьичем. «Зачем нам секунданты» — сказал он мне сухо: — «без них обойдемся». Мы условились драться за скирдами, что находились подле крепости, и явиться туда на другой день в седьмом часу утра. Мы разговаривали, повидимому, так дружелюбно, что Иван Игнатьич от радости проболтался. «Давно бы так» — сказал он мне с довольным видом; — «худой мир лучше доброй ссоры, а и нечестен, так здоров».

«Что, что, Иван Игнатьич?» — сказала комендантша, которая в углу гадала в карты: — «я не вслушалась».

Иван Игнатьич, заметив во мне знаки неудовольствия и вспомня свое обещание, смутился и не знал, что отвечать. Швабрин подоспел к нему на помощь.

«Иван Игнатьич» — сказал он — «одобряет нашу мировую».

— А с кем это, мой батюшка, ты ссорился? «

«Мы было поспорили довольно крупно с Петром Андреичем».

— За что так?

«За сущую безделицу: за песенку, Василиса Егоровна».

— Нашли за что ссориться! за песенку!… да как же это случилось?

«Да вот как: Петр Андреич сочинил недавно песню и сегодня запел ее при мне, а я затянул мою, любимую:

Капитанская дочь,

Не ходи гулять в полночь.

Вышла разладица. Петр Андреич было и рассердился; но потом рассудил, что всяк волен петь, что кому угодно. Тем и дело кончилось».

Бесстыдство Швабрина чуть меня не взбесило; но никто, кроме меня, не понял грубых его обиняков; по крайней мере, никто не обратил на них внимания. От песенок разговор обратился к стихотворцам, и комендант заметил, что все они люди беспутные и горькие пьяницы, и дружески советовал мне оставить стихотворство, как дело службе противное и ни к чему доброму не доводящее.

Присутствие Швабрина было мне несносно. Я скоро простился с комендантом и с его семейством; пришед домой, осмотрел свою шпагу, попробовал ее конец, и лег спать, приказав Савельичу разбудить меня в седьмом часу.

На другой день в назначенное время я стоял уже за скирдами, ожидая моего противника. Вскоре и он явился. «Нас могут застать» — сказал он мне; — «надобно поспешить». Мы сняли мундиры, остались в одних камзолах и обнажили шпаги. В эту минуту из-за скирда вдруг появился Иван Игнатьич и человек пять инвалидов. Он потребовал нас к коменданту. Мы повиновались с досадою; солдаты нас окружили, и мы отправились в крепость вслед за Иваном Игнатьичем, который вел нас в торжестве, шагая с удивительной важностию.

Мы вошли в комендантской дом. Иван Игнатьич отворил двери, провозгласив торжественно «привел!» Нас встретила Василиса Егоровна. «Ах, мои батюшки! На что это похоже? как? что? в нашей крепости заводить смертоубийство! Иван Кузмич, сейчас их под арест! Петр Андреич! Алексей Иваныч! подавайте сюда ваши шпаги, подавайте, подавайте. Палашка, отнеси эти шпаги в чулан. Петр Андреич! Этого я от тебя не ожидала. Как тебе не совестно? Добро Алексей Иваныч: он за душегубство и из гвардии выписан, он и в господа бога не верует; а ты-то что? туда же лезешь?»

Иван Кузмич вполне соглашался с своею супругою и приговаривал: «А слышь ты, Василиса Егоровна правду говорит. Поединки формально запрещены в воинском артикуле». Между тем Палашка взяла у нас наши шпаги и отнесла в чулан. Я не мог не засмеяться. Швабрин сохранил свою важность. «При всем моем уважении к вам» — сказал он ей хладнокровно — «не могу не заметить, что напрасно вы изволите беспокоиться, подвергая нас вашему суду. Предоставьте это Ивану Кузмичу: это его дело». — Ах! мой батюшка! — возразила комендантша; — да разве муж и жена не един дух и едина плоть? Иван Кузмич! Что ты зеваешь? Сейчас рассади их по разным углам на хлеб да на воду, чтоб у них дурь-то прошла; да пусть отец Герасим наложит на них эпитимию, чтоб молили у бога прощения, да каялись перед людьми.

Иван Кузмич не знал, на что решиться. Марья Ивановна была чрезвычайно бледна. Мало-помалу буря утихла; комендантша успокоилась, и заставила нас друг друга поцаловать. Палашка принесла нам наши шпаги. Мы вышли от коменданта повидимому примиренные. Иван Игнатьич нас сопровождал. — Как вам не стыдно было — сказал я ему сердито — доносить на нас коменданту после того, как дали мне слово того не делать? — «Как бог свят, я Ивану Кузмичу того не говорил» — отвечал он; — «Василиса Егоровна выведала все от меня. Она всем и распорядилась без ведома коменданта. Впрочем, слава богу, что все так кончилось». С этим словом он повернул домой, а Швабрин и я остались наедине. — Наше дело этим кончиться не может — сказал я ему. «Конечно», — отвечал Швабрин; — «вы своею кровью будете отвечать мне за вашу дерзость; но за нами, вероятно, станут присматривать. Несколько дней нам должно будет притворяться. До свидания!» — И мы расстались, как ни в чем не бывали.

Возвратясь к коменданту, я по обыкновению своему подсел к Марье Ивановне. Ивана Кузмича не было дома; Василиса Егоровна занята была хозяйством. Мы разговаривали вполголоса. Марья Ивановна с нежностию выговаривала мне за беспокойство, причиненное всем моею ссорою с Швабриным. «Я так и обмерла» — сказала она, — «когда сказали нам, что вы намерены биться на шпагах. Как мужчины странны! За одно слово, о котором через неделю верно б они позабыли, они готовы резаться и жертвовать не только жизнию, но и совестию и благополучием тех, которые… Но я уверена, что не вы зачинщик ссоры. Верно виноват Алексей Иваныч».

— А почему же вы так думаете, Марья Ивановна? «

«Да так… он такой насмешник! Я не люблю Алексея Иваныча. Он очень мне противен; а странно: ни за что б я не хотела, чтоб и я ему так же не нравилась. Это меня беспокоило бы страх».

— А как вы думаете, Марья Ивановна? Нравитесь ли вы ему или нет?

Марья Ивановна заикнулась и покраснела. «Мне кажется» — сказала она, — «я думаю, что нравлюсь».

— Почему же вам так кажется?

«Потому что он за меня сватался».

— Сватался! Он за вас сватался? Когда же? «

«В прошлом году. Месяца два до вашего приезда».

— И вы не пошли?

«Как изволите видеть. Алексей Иваныч конечно человек умный, и хорошей фамилии, и имеет состояние; но как подумаю, что надобно будет под венцом при всех с ним поцаловаться… Ни за что! ни за какие благополучия!»

Слова Марьи Ивановны открыли мне глаза и объяснили мне многое. Я понял упорное злоречие, которым Швабрин ее преследовал. Вероятно, замечал он нашу взаимную склонность и старался отвлечь нас друг от друга. Слова, подавшие повод к нашей ссоре, показались мне еще более гнусными, когда, вместо грубой и непристойной насмешки, увидел я в них обдуманную клевету. Желание наказать дерзкого злоязычника сделалось во мне еще сильнее, и я с нетерпением стал ожидать удобного случая.

Я дожидался не долго. На другой день, когда сидел я за элегией и грыз перо в ожидании рифмы, Швабрин постучался под моим окошком. Я оставил перо, взял шпагу и к нему вышел. «Зачем откладывать?» — сказал мне Швабрин: — «за нами не смотрят. Сойдем к реке. Там никто нам не помешает». Мы отправились, молча. Спустясь по крутой тропинки, мы остановились у самой реки и обнажили шпаги. Швабрин был искуснее меня, но я сильнее и смелее, и monsieur Бопре, бывший некогда солдатом, дал мне несколько уроков в фехтовании, которыми я и воспользовался. Швабрин не ожидал найти во мне столь опасного противника. Долго мы не могли сделать друг другу никакого вреда; наконец, приметя, что Швабрин ослабевает, я стал с живостию на него наступать и загнал его почти в самую реку. Вдруг услышал я свое имя, громко произнесенное. Я оглянулся, и увидел Савельича, сбегающего ко мне по нагорной тропинке……. В это самое время меня сильно кольнуло в грудь пониже правого плеча; я упал и лишился чувств.

ГЛАВА V.
ЛЮБОВЬ

Ах ты, девка, девка красная!
Не ходи, девка, молода замуж;
Ты спроси, девка, отца, матери,
Отца, матери, роду-племени;
Накопи, девка, ума-разума,
Ума-разума, приданова.

Песня народная.

Буде лучше меня найдешь, позабудешь.
Если хуже меня найдешь, вспомянешь.

То же.

Очнувшись, я несколько времени не мог опомниться и не понимал, что со мною сделалось. Я лежал на кровате, в незнакомой горнице, и чувствовал большую слабость. Передо мною стоял Савельич со свечкою в руках. Кто-то бережно развивал перевязи, которыми грудь и плечо были у меня стянуты. Мало-по-мал мысли мои прояснились. Я вспомнил свой поединок, и догадался, что

был ранен. В эту минуту скрыпнула дверь. «Что? каков?» — произнес пошепту голос, от которого я затрепетал. — все в одном положении, — отвечал Савельич со вздохом; — все без памяти, вот уже пятые сутки. — Я хотел оборотиться, но не мог. — Где я? кто здесь? — сказал я с усилием. Марья Ивановна подошла к моей кровати и наклонилась ко мне. «Что? как вы себя чувствуете?» — сказала она. — Слава богу, — отвечал я слабым голосом. — Это вы, Марья Ивановна? скажите мне… — я не в силах был продолжать и замолчал. Савельич ахнул. Радость изобразилась на его лице. «Опомнился! опомнился!» — повторял он. — «Слава тебе, владыко! Ну батюшка Петр Андреич! напугал ты меня! легко ли? пятые сутки!.. Марья Ивановна перервала его речь. „Не говори с ним много, Савельич“, — сказала она. — „Он еще слаб“. Она вышла и тихонько притворила дверь. Мысли мои волновались. И так я был в доме коменданта, Марья Ивановна входила ко мне. Я хотел сделать Савельичу некоторые вопросы, но старик замотал головою и заткнул себе уши. Я с досадою закрыл глаза и вскоре забылся сном.

Проснувшись подозвал я Савельича, и вместо его увидел перед собою Марью Ивановну; ангельский голос ее меня приветствовал. Не могу выразить сладостного чувства, овладевшего мною в эту минуту. Я схватил ее руку и прильнул к ней, обливая слезами умиления. Маша не отрывала ее… и вдруг ее губки коснулись моей щеки, и я почувствовал их жаркой и свежий поцелуй. Огонь пробежал по мне. «Милая, добрая Марья Ивановна, — сказал я ей — будь моею женою, согласись на мое счастие». — Она опомнилась. «Ради бога успокойтесь» — сказала она, отняв у меня свою руку. — «Вы еще в опасности: рана может открыться. Поберегите себя хоть для меня». С этим словом она ушла, оставя меня в упоении восторга. Счастие воскресило меня. Она будет моя! она меня любит! Эта мысль наполняла все мое существование.

С той поры мне час от часу становилось лучше. Меня лечил полковой цырюльник, ибо в крепости другого лекаря не было, и, слава богу, не умничал. Молодость и природа ускорили мое выздоровление. все семейство коменданта за мною ухаживало. Марья Ивановна от меня не отходила. Разумеется, при первом удобном случае я принялся за прерванное объяснение, и Марья Ивановна выслушала меня терпеливее. Она безо всякого жеманства призналась мне в сердечной склонности и сказала, что ее родители конечно рады будут ее счастию. «Но подумай хорошенько» — прибавила она: — «со стороны твоих родных не будет ли препятствия?»

Я задумался. В нежности матушкиной я не сумневался; но, зная нрав и образ мыслей отца, я чувствовал, что любовь моя не слишком его тронет, и что он будет на нее смотреть, как на блажь молодого человека. Я чистосердечно признался в том Марье Ивановне, и решился однако писать к батюшке как можно красноречивее, прося родительского благословения. Я показал письмо Марьи Ивановне, которая нашла его столь убедительным и трогательным, что не сомневалась в успехе его, и предалась чувствам нежного своего сердца со всею доверчивостию молодости и любви.

Со Швабриным я помирился в первые дни моего выздоровления. Иван Кузмич, выговаривая мне за поединок, сказал мне: «Эх, Петр Андреич! надлежало бы мне посадить тебя под арест, да ты уж и без того наказан. А Алексей Иваныч у меня таки сидит в хлебном магазине под караулом, и шпага его под замком у Василисы Егоровны. Пускай он себе надумается, да раскается». — Я слишком был счастлив, чтоб хранить в сердце чувство неприязненное. Я стал просить за Швабрина, и добрый комендант с согласия своей супруги, решился его освободить. Швабрин пришел ко мне; он изъявил глубокое сожаление о том, что случилось между нами; признался, что был кругом виноват, и просил меня забыть о прошедшем. Будучи от природы не злопамятен, я искренно простил ему и нашу ссору и рану, мною от него полученную. В клевете его видел я досаду оскорбленного самолюбия и отвергнутой любви, и великодушно извинял своего несчастного соперника.

Вскоре я выздоровел, и мог перебраться на мою квартиру. С нетерпением ожидал я ответа на посланное письмо, не смея надеяться, и стараясь заглушить печальные предчувствия. С Василисой Егоровной и с ее мужем я еще не объяснялся; но предложение мое не должно было их удивить. Ни я, ни Марья Ивановна не старались скрывать от них свои чувства, и мы заранее были уж уверены в их согласии.

Наконец однажды утром Савельич вошел ко мне, держа в руках письмо. Я схватил его с трепетом. Адрес был написан рукою батюшки. Это приуготовило меня к чему-то важному, ибо обыкновенно письма писала ко мне матушка, а он в конце приписывал несколько строк. Долго не распечатывал я пакета и перечитывал торжественную надпись: «Сыну моему Петру Андреевичу Гриневу, в Оренбургскую губернию, в Белогорскую крепость». Я старался по почерку угадать расположение духа, в котором писано было письмо; наконец решился его распечатать, и с первых строк увидел, что все дело пошло к чорту. Содержание письма было следующее:

«Сын мой Петр! Письмо твое, в котором просишь ты нас о родительском нашем благословении и согласии на брак с Марьей Ивановной дочерью Мироновой, мы получили 15-го сего месяца, и не только ни моего благословения, ни моего согласия дать я тебе не намерен, но еще и собираюсь до тебя добраться, да за проказы твои проучить тебя путем, как мальчишку, не смотря на твой офицерской чин: ибо ты доказал, что шпагу носить еще недостоин, которая пожалована тебе на защиту отечества, а не для дуелей с такими же сорванцами, каков ты сам. Немедленно буду писать к Андрею Карловичу, прося его перевести тебя из Белогорской крепости куда-нибудь подальше, где бы дурь у тебя прошла. Матушка твоя, узнав о твоем поединке и о том, что ты ранен, с горести занемогла и теперь лежит. Что из тебя будет? Молю бога, чтоб ты исправился, хоть и не смею надеяться на его великую милость.

Отец твой А. Г.»

Чтение сего письма возбудило во мне разные чувствования. Жестокие выражения, на которые батюшка не поскупился, глубоко оскорбили меня. Пренебрежение, с каким он упоминал о Марьи Ивановне, казалось мне столь же непристойным, как и несправедливым. Мысль о переведении моем из Белогорской крепости меня ужасала; но всего более огорчило меня известие о болезни матери. Я негодовал на Савельича, не сомневаясь, что поединок мой стал известен родителям через него. Шагая взад и вперед по тесной моей комнате, я остановился перед ним и сказал, взглянув на него грозно: — Видно тебе не довольно, что я, благодаря тебя, ранен и целый месяц был на краю гроба: ты и мать мою хочешь уморить. — Савельич был поражен как громом. «Помилуй, сударь», — сказал он чуть не зарыдав, — «что это изволишь говорить? Я причина, что ты был ранен! Бог видит, бежал я заслонить тебя своею грудью от шпаги Алексея Иваныча! Старость проклятая помешала. Да что ж я сделал матушке-то твоей?» — Что ты сделал? — отвечал я. — Кто просил тебя писать на меня доносы? разве ты приставлен ко мне в шпионы? — «Я? писал на тебя доносы?» — отвечал Савельич со слезами. — «Господи царю небесный! Так изволь-ка прочитать, что пишет ко мне барин: увидишь, как я доносил на тебя». Тут он вынул из кармана письмо, и я прочел следующее:

«Стыдно тебе, старый пес, что ты, не взирая на мои строгие приказания, мне не донес о сыне моем Петре Андреевиче и что посторонние принуждены уведомлять меня о его проказах. Так ли исполняешь ты свою должность и господскую волю? Я тебя, старого пса! пошлю свиней пасти за утайку правды и потворство к молодому человеку. С получением сего, приказываю тебе немедленно отписать ко мне, каково теперь его здоровье, о котором пишут мне, что поправилось; да в какое именно место он ранен и хорошо ли его залечили».

Очевидно было, что Савельич передо мною был прав и что я напрасно оскорбил его упреком и подозрением. Я просил у него прощения; но старик был неутешен. «Вот до чего я дожил» — повторял он; — «вот каких милостей дослужился от своих господ! Я и старый пес, и свинопас, да я ж и причина твоей раны? Нет, батюшка Петр Андреич! не я, проклятый мусье всему виноват: он научил тебя тыкаться железными вертелами, да притопывать, как будто тыканием да топанием убережешься от злого человека! Нужно было нанимать мусье да тратить лишние деньги!»

Но кто же брал на себя труд уведомить отца моего о моем поведении? Генерал? Но он, казалось, обо мне не слишком заботился; а Иван Кузмич не почел за нужное рапортовать о моем поединке. Я терялся в догадках. Подозрения мои остановились на Швабрине. Он один имел выгоду в доносе, коего следствием могло быть удаление мое из крепости и разрыв с комендантским

семейством. Я пошел объявить обо всем Марье Ивановне. Она встретила меня на крыльце. «Что это с вами сделалось?» — сказала она, увидев меня. — «Как вы бледны!» — все кончено! — отвечал я и отдал ей батюшкино письмо. Она побледнела в свою очередь. Прочитав, она возвратила мне письмо дрожащею рукою и сказала дрожащим голосом: «Видно мне не судьба… Родные ваши не хотят меня в свою семью. Буди во всем воля господня! Бог лучше нашего знает, что нам надобно. Делать нечего, Петр Андреич; будьте хоть вы счастливы…» — Этому не бывать! — вскричал я, схватив ее за руку; — ты меня любишь; я готов на все. Пойдем, кинемся в ноги к твоим родителям; они люди простые, не жестокосердые гордецы… Они нас благословят; мы обвенчаемся… а там современем, я уверен, мы умолим отца моего; матушка будет за нас; он меня простит… «Нет, Петр Андреич», — отвечала Маша — «я не выйду за тебя без благословения твоих родителей. Без их благословения не будет тебе счастия. Покоримся воле божией. Коли найдешь себе суженую, коли полюбишь другую — бог с тобою, Петр Андреич; а я за вас обоих…» Тут она заплакала, и ушла от меня; я хотел было войти за нею в комнату, но чувствовал, что был не в состоянии владеть самим собою, и воротился домой.

Я сидел погруженный в глубокую задумчивость, как вдруг Савельич прервал мои размышления. «Вот, сударь», сказал он, подавая мне исписанный лист бумаги; — посмотри, доносчик ли я на своего барина, и стараюсь ли я помутить сына с отцом». Я взял из рук его бумагу: это был ответ Савельича на полученное им письмо. Вот он от слова до слова:

«Государь Андрей Петрович,
отец наш милостивый!

Милостивое писание ваше я получил, в котором изволишь гневаться на меня, раба вашего, что де стыдно мне не исполнять господских приказаний; — а я, не старый пес, а верный ваш слуга, господских приказаний слушаюсь и усердно вам всегда служил и дожил до седых волос. Я ж про рану Петра Андреича ничего к вам не писал, чтоб не испужать понапрасну, и, слышно, барыня, мать наша Авдотья Васильевна и так с испугу слегла, и за ее здоровие бога буду молить. А Петр Андреич ранен был под правое плечо, в грудь под самую косточку, в глубину на полтора вершка, и лежал он в доме у коменданта, куда принесли мы его с берега, и лечил его здешний цырюльник Степан Парамонов; и теперь Петр Андреич, слава богу, здоров, и про него кроме хорошего нечего и писать. Командиры, слышно, им довольны; а у Василисы Егоровны он как родной сын. А что с ним случилось такая оказия, то быль молодцу не укора: конь и о четырех ногах, да спотыкается. А изволите вы писать, что сошлете меня свиней пасти, и на то ваша боярская воля. За сим кланяюсь рабски.

Верный холоп ваш
Архип Савельев».

Я не мог несколько раз не улыбнуться, читая грамоту доброго старика. Отвечать батюшке я был не в состоянии; а чтоб успокоить матушку письмо Савельича мне показалось достаточным.

С той поры положение мое переменилось. Марья Ивановна почти со мною не говорила, и всячески старалась избегать меня. Дом коменданта стал для меня постыл. Мало-по-малу приучился я сидеть один у себя дома. Василиса Егоровна сначала за то мне пеняла; но видя мое упрямство, оставила меня в покое. С Иваном Кузмичем виделся я только, когда того требовала служба. Со Швабриным встречался редко и неохотно, тем более что замечал в нем скрытую к себе неприязнь, что и утверждало меня в моих подозрениях. Жизнь моя сделалась мне несносна. Я впал в мрачную задумчивость, которую питали одиночество и бездействие. Любовь моя разгоралась в уединении и час от часу становилась мне тягостнее. Я потерял охоту к чтению и словесности. Дух мой упал. Я боялся или сойти с ума или удариться в распутство. Неожиданные происшедствия, имевшие важное влияние на всю мою жизнь, дали вдруг моей душе сильное и благое потрясение.

ГЛАВА VI.
ПУГАЧЕВЩИНА

Вы, молодые ребята, послушайте,
Что мы, старые старики, будем сказывати.

Песня.

Прежде нежели приступлю к описанию странных происшедствий, коим я был свидетель, я должен сказать несколько слов о положении, в котором находилась Оренбургская губерния в конце 1773 года.

Сия обширная и богатая губерния обитаема была множеством полудиких народов, признавших еще недавно владычество российских государей. Их поминутные возмущения, непривычка к законам и гражданской жизни, легкомыслие и жестокость требовали со стороны правительства непрестанного надзора для удержания их в повиновении. Крепости выстроены были в местах, признанных удобными, заселены по большей части казаками, давнишними обладателями Яицких берегов. Но Яицкие казаки, долженствовавшие охранять спокойствие и безопасность сего края, с некоторого времени были сами для правительства неспокойными и опасными подданными. В 1772 году произошло возмущение в их главном городке. Причиною тому были строгие меры, предпринятые генерал-маиором Траубенбергом, дабы привести войско к должному повиновению. Следствием было варварское убиение Траубенберга, своевольная перемена в управлении, и наконец усмирение бунта картечью и жестокими наказаниями. Это случилось несколько времени перед прибытием моим в Белогорскую крепость. все было уже тихо, или казалось таковым; начальство слишком легко поверило мнимому раскаянию лукавых мятежников, которые злобствовали в тайне и выжидали удобного случая для возобновления беспорядков.

Обращаюсь к своему рассказу.

Однажды вечером (это было в начале октября 1773 года) сидел я дома один, слушая вой осеннего ветра, и смотря в окно на тучи, бегущие мимо луны. Пришли меня звать от имени коменданта. Я тотчас отправился. У коменданта нашел я Швабрина, Ивана Игнатьича и казацкого урядника. В комнате не было ни Василисы Егоровны, ни Марьи Ивановны. Комендант со мною поздоровался с видом озабоченным. Он запер двери, всех усадил, кроме урядника, который стоял у дверей, вынул из кармана бумагу и сказал нам: «Господа офицеры, важная новость! Слушайте, что пишет генерал». Тут он надел очки и прочел следующее:

«Господину коменданту Белогорской крепости
капитану Миронову.

По секрету.

«Сим извещаю вас, что убежавший из-под караула донской казак и раскольник Емельян Пугачев, учиня непростительную дерзость принятием на себя имени покойного императора Петра III, собрал злодейскую шайку, произвел возмущение в Яицких селениях, и уже взял и разорил несколько крепостей, производя везде грабежи и смертные убийства. Того ради, с получением сего, имеете вы, господин капитан, немедленно принять надлежащие меры к отражению помянутого злодея и самозванца, а буде можно и к совершенному уничтожению оного, если он обратится на крепость, вверенную вашему попечению».

«Принять надлежащие меры!» — сказал комендант, снимая очки и складывая бумагу. — «Слышь ты, легко сказать. Злодей-то видно силен; а у нас всего сто тридцать человек, не считая казаков, на которых плоха надежда, не в укор буди тебе сказано, Максимыч. (Урядник усмехнулся.) Однако делать нечего, господа офицеры! Будьте исправны, учредите караулы, да ночные дозоры; в случае нападения запирайте ворота, да выводите солдат. Ты, Максимыч смотри крепко за своими казаками. Пушку осмотреть, да хорошенько вычистить. А пуще всего содержите все это в тайне, чтоб в крепости никто не мог о том узнать преждевременно».

Раздав сии повеления, Иван Кузмич нас распустил. Я вышел вместе со Швабриным, рассуждая о том, что мы слышали. — Как ты думаешь, чем это кончится? — спросил я его. «Бог знает» —

отвечал он; — «посмотрим. Важного покаместь еще ничего не вижу. Если же…» Тут он задумался и в рассеянии стал насвистывать французскую арию.

Не смотря на все наши предосторожности, весть о появлении Пугачева разнеслась по крепости. Иван Кузмич, хоть и очень уважал свою супругу, но ни за что на свете не открыл бы ей тайны, вверенной ему по службе. Получив письмо от генерала, он довольно искусным образом выпроводил Василису Егоровну, сказав ей, будто бы отец Герасим получил из Оренбурга какие-то чудные известия, которые содержит в великой тайне. Василиса Егоровна тотчас захотела отправиться в гости к попадье и, по совету Ивана Кузмича взяла с собою и Машу, чтоб ей не было скучно одной.

Иван Кузмич, оставшись полным хозяином, тотчас послал за нами, а Палашку запер в чулан, чтоб она не могла нас подслушать.

Василиса Егоровна возвратилась домой, не успев ничего выведать от попадьи, и узнала, что во время ее отсутствия было у Ивана Кузмича совещание, и что Палашка была под замком. Она догадалась, что была обманута мужем, и приступила к нему с допросом. Но Иван Кузмич приготовился к нападению. Он ни мало не смутился и бодро отвечал своей любопытной сожительнице: «А слышь ты, матушка, бабы наши вздумали печи топить соломою; а как от того может произойти несчастие, то я и отдал строгий приказ впредь соломою бабам печей не топить, а топить хворостом и валежником». — А для чего ж было тебе запирать Палашку? — спросила комендантша. — За что бедная девка просидела в чулане, пока мы не воротились? — Иван Кузмич не был приготовлен к таковому вопросу; он запутался и пробормотал что-то очень нескладное. Василиса Егоровна увидела коварство своего мужа; но зная, что ничего от него ни добьется, прекратила свои вопросы и завела речь о соленых огурцах, которые Акулина Памфиловна приготовляла совершенно особенным образом. Во всю ночь Василиса Егоровна не могла заснуть, и никак не могла догадаться, что бы такое было в голове ее мужа, о чем бы ей нельзя было знать.

На другой день, возвращаясь от обедни, она увидела Ивана Игнатьича, который вытаскивал из пушки тряпички, камушки, щепки, бабки и сор всякого рода, запиханный в нее ребятишками. «Что бы значили эти военные приготовления?» — думала комендантша: — «уж не ждут ли нападения от киргизцев? Но неужто Иван Кузмич стал бы от меня таить такие пустяки?» Она кликнула Ивана Игнатьича, с твердым намерением выведать от него тайну, которая мучила ее дамское любопытство.

Василиса Егоровна сделала ему несколько замечаний касательно хозяйства, как судия, начинающий следствие вопросами посторонними, дабы сперва усыпить осторожность ответчика. Потом, помолчав несколько минут, она глубоко вздохнула и сказала качая головою: «Господи боже мой! Вишь какие новости! Что из этого будет?»

— И, матушка! — отвечал Иван Игнатьич. — Бог милостив: солдат у нас довольно, пороху много, пушку я вычистил. Авось дадим отпор Пугачеву. Господь не выдаст, свинья не съест!

«А что за человек этот Пугачев?» — спросила комендантша.

Тут Иван Игнатьич заметил, что проговорился, и закусил язык. Но уже было поздно. Василиса Егоровна принудила его во всем признаться, дав ему слово не рассказывать о том никому.

Василиса Егоровна сдержала свое обещание и никому не сказала ни одного слова, кроме как попадьи, и то потому только, что корова ее ходила еще в степи и могла быть захвачена злодеями.

Вскоре все заговорили о Пугачеве. Толки были различны. Комендант послал урядника с поручением разведать хорошенько обо всем по соседним селениям и крепостям. Урядник возвратился через два дня и объявил, что в степи верст за шестьдесят от крепости видел он множество огней и слышал от башкирцев, что идет неведомая сила. Впрочем не мог он сказать ничего положительного, потому что ехать дальше побоялся.

В крепости между казаками заметно стало необыкновенное волнение; во всех улицах они толпились в кучки, тихо разговаривали между собою, и расходились, увидя драгуна или гарнизонного солдата. Подосланы были к ним лазутчики. Юлай, крещеный калмык, сделал коменданту важное донесение. Показания урядника, по словам Юлая, были ложны: по возвращении своем лукавый казак объявил своим товарищам, что он был у бунтовщиков,

представлялся самому их предводителю, который допустил его к своей руке и долго с ним разговаривал. Комендант немедленно посадил урядника под караул, а Юлая назначил на его место. Эта новость принята была казаками с явным неудовольствием. Они громко роптали, и Иван Игнатьич, исполнитель комендантского распоряжения, слышал своими ушами, как они говорили: «Вот ужо тебе будет, гарнизонная крыса!» Комендант думал в тот же день допросить своего арестанта; но урядник бежал из-под караула, вероятно при помощи своих единомышленников.

Новое обстоятельство усилило беспокойство коменданта. Схвачен был башкирец с возмутительными листами. По сему случаю комендант думал опять собрать своих офицеров, и для того хотел опять удалить Василису Егоровну под благовидным предлогом. Но как Иван Кузмич был человек самый прямодушный и правдивый то и не нашел другого способа, кроме как единожды уже им употребленного.

«Слышь ты, Василиса Егоровна», — сказал он ей покашливая. — «Отец Герасим получил, говорят, из города…» — Полно врать, Иван Кузмич, — перервала комендантша; ты, знать, хочешь собрать совещание, да без меня потолковать об Емельяне Пугачеве; да лих не проведешь! — Иван Кузмич вытаращил глаза. «Ну, матушка», — сказал он — «коли ты уже все знаешь, так пожалуй оставайся; мы потолкуем и при тебе». — То-то, батько мой, — отвечала она; — не тебе бы хитрить; посылай-ка за офицерами.

Мы собрались опять. Иван Кузмич в присутствии жены прочел нам воззвание Пугачева, писанное каким-нибудь полуграмотным казаком. Разбойник объявлял о своем намерении немедленно идти на нашу крепость; приглашал казаков и солдат в свою шайку, а командиров увещевал не супротивляться, угрожая казнию в противном случае. Воззвание написано было в грубых, но сильных выражениях, и должно было произвести опасное впечатление на умы простых людей.

«Каков мошенник!» — воскликнула комендантша. — «Что смеет еще нам предлагать! Выдти к нему на встречу и положить к ногам его знамена! Ах он собачий сын! Да разве не знает он, что мы уже сорок лет в службе и всего, слава богу, насмотрелись? Неужто нашлись такие командиры, которые послушались разбойника?»

— Кажется, не должно бы, — отвечал Иван Кузмич. — А слышно, элодей завладел уж многими крепостями. «

«Видно он в самом деле силен» — заметил Швабрин.

— А вот сейчас узнаем настоящую его силу — сказал комендант. — Василиса Егоровна, дай мне ключ от анбара. Иван Игнатьич, приведи-ка башкирца, да прикажи Юлаю принести сюда плетей.

«Постой, Иван Кузмич» — сказала комендантша, вставая с места. — «Дай уведу Машу куда-нибудь из дому; а то услышит крик, перепугается. Да и я, правду сказать, не охотница до розыска. Счастливо оставаться».

Пытка, в старину, так была укоренена в обычаях судопроизводства, что благодетельный указ, уничтоживший оную, долго оставался безо всякого действия. Думали, что собственное признание преступника необходимо было для его полного обличения, — мысль не только неосновательная, но даже и совершенно противная здравому юридическому смыслу: ибо, если отрицание подсудимого не приемлется в доказательство его невинности, то признание его и того менее должно быть доказательством его виновности. Даже и ныне случается мне слышать старых судей, жалеющих об уничтожении варварского обычая. В наше же время никто не сумневался в необходимости пытки, ни судьи, ни подсудимые. Итак приказание коменданта никого из нас не удивило и не встревожило. Иван Игнатьич отправился за башкирцем, который сидел в анбаре под ключом у комендантши, и через несколько минут невольника привели в переднюю. Комендант велел его к себе представить.

Башкирец с трудом шагнул через порог (он был в колодке) и, сняв высокую свою шапку, остановился у дверей. Я взглянул на него и содрогнулся. Никогда не забуду этого человека. Ему казалось лет за семьдесят. У него не было ни носа ни ушей. Голова его была выбрита; вместо бороды торчало несколько седых волос; он был малого росту, тощ и сгорблен; но узенькие глаза

его сверкали еще огнем. — «Эхе!» — сказал комендант, узнав, по страшным его приметам, одного из бунтовщиков, наказанных в 1741 году. — «Да ты видно старый волк, побывал в наших капканах. Ты знать не впервой уже бунтуешь, коли у тебя так гладко выстрогана башка. Подойди-ка поближе; говори, кто тебя подослал?»

Старый башкирец молчал и глядел на коменданта с видом совершенного бессмыслия. «Что же ты молчишь?» — продолжал Иван Кузмич: — «али бельмес по-русски не разумеешь? Юлай, спроси-ка у него по вашему, кто его подослал в нашу крепость?»

Юлай повторил на татарском языке вопрос Ивана Кузмича. Но башкирец глядел на него с тем же выражением, и не отвечал ни слова.

«Якши» — сказал комендант; — «ты у меня заговоришь. Ребята! сымите-ка с него дурацкий полосатый халат, да выстрочите ему спину. Смотри ж, Юлай: хорошенько его!»

Два инвалида стали башкирца раздевать. Лицо несчастного изобразило беспокойство. Он оглядывался на все стороны, как зверок, пойманный детьми. Когда ж один из инвалидов взял его руки и, положив их себе около шеи, поднял старика на свои плечи, а Юлай взял плеть и замахнулся: тогда башкирец застонал слабым, умоляющим голосом и, кивая головою, открыл рот, в котором вместо языка шевелился короткий обрубок.

Когда вспомню, что это случилось на моем веку, и что ныне дожил я до кроткого царствования императора Александра, не могу не дивиться быстрым успехам просвещения и распространению правил человеколюбия. Молодой человек! если записки мои попадутся в твои руки, вспомни, что лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от улучшения нравов, без всяких насильственных потрясений.

Все были поражены. «Ну» — сказал комендант; — «видно нам от него толку не добиться. Юлай, отведи башкирца в анбар. А мы, господа, кой о чем еще потолкуем».

Мы стали рассуждать о нашем положении, как вдруг Василиса Егоровна вошла в комнату, задыхаясь и с видом чрезвычайно встревоженным.

«Что это с тобою сделалось?» — спросил изумленный комендант.

— Батюшки, беда!-отвечала Василиса Егоровна. — Нижнеозерная взята сегодня утром. Работник отца Герасима сейчас оттуда воротился. Он видел, как ее брали. Комендант и все офицеры перевешаны. Все солдаты взяты в полон. Того и гляди, злодеи будут сюда.

Неожиданная весть сильно меня поразила. Комендант Нижнеозерной крепости, тихий и скромный молодой человек, был мне знаком: месяца за два перед тем проезжал он из Оренбурга с молодой своей женою и останавливался у Ивана Кузмича. Нижнеозерная находилась от нашей крепости верстах в двадцати пяти. С часу на час должно было и нам ожидать нападения Пугачева. Участь Марьи Ивановны живо представилась мне, и сердце у меня так и замерло.

— Послушайте, Иван Кузмич! — сказал я коменданту. — Долг наш защищать крепость до последнего нашего издыхания; об этом и говорить нечего. Но надобно подумать о безопасности женщин. Отправьте их в Оренбург, если дорога еще свободна, или в отдаленную, более надежную крепость, куда злодеи не успели бы достигнуть.

Иван Кузмич оборотился к жене и сказал ей: «А слышь ты матушка, и в самом деле, не отправить ли вас подале, пока не управимся мы с бунтовщиками?»

— И, пустое! — сказала комендантша. — Где такая крепость, куда бы пули не залетали? Чем Белогорская ненадежна? Слава богу, двадцать второй год в ней проживаем. Видали и башкирцев и киргизцев: авось и от Пугачева отсидимся!

«Ну, матушка», — возразил Иван Куэмич — «оставайся, пожалуй, коли ты на крепость нашу надеешься. Да с Машей-то что нам делать? Хорошо, коли отсидимся, или дождемся сикурса; ну, а коли злодеи возьмут крепость?»

— Ну, тогда… — Тут Василиса Егоровна заикнулась и замолчала с видом чрезвычайного волнения.

«Нет, Василиса Егоровна», — продолжал комендант, замечая, что слова его подействовали, может быть, в первый раз в его жизни. — «Маше здесь оставаться не гоже. Отправим ее в Оренбург к ее крестной матери: там и войска и пушек довольно, и стена каменная. Да и тебе советовал бы с

нею туда же отправиться; даром что ты старуха, а посмотри что с тобою будет, коли возьмут фортецию приступом».

— Добро, — сказала комендантша, — так и быть, отправим Машу. А меня, и во сне не проси: не поеду. Нечего мне под старость лет расставаться с тобою, да искать одинокой могилы на чужой сторонке. Вместе жить, вместе и умирать.

«И то дело» — сказал комендант. — «Ну, медлить нечего. Ступай готовить Машу в дорогу. Завтра чем свет ее и отправим, да дадим ей и конвой, хоть людей лишних у нас и нет. Да где же Маша?»

— У Акулины Памфиловны, — отвечала комендантша. — Ей сделалось дурно, как услышала о взятии Нижнеозерной; боюсь, чтобы не занемогла. Господи владыко, до чего мы дожили!

Василиса Егоровна ушла хлопотать об отъезде дочери. Разговор у коменданта продолжался; но я уже в него не мешался и ничего не слушал. Марья Ивановна явилась к ужину бледная и заплаканная. Мы отужинали молча, и встали изо стола скорее обыкновенного; простясь со всем семейством, мы отправились по домам. Но я нарочно забыл свою шпагу и воротился за нею: я предчувствовал, что застану Марью Ивановну одну. В самом деле, она встретила меня в дверях и вручила мне шпагу. «Прощайте, Петр Андреич!» — сказала она мне со слезами. — «Меня посылают в Оренбург. Будьте живы и счастливы; может быть, господь приведет нам друг с другом увидеться; если же нет…» Тут она зарыдала. Я обнял ее. — Прощай, ангел мой, — сказал я, — прощай, моя милая, моя желанная! Что бы со мною ни было, верь, что последняя моя мысль и последняя молитва будет о тебе! — Маша рыдала, прильнув к моей груди. Я с жаром ее поцаловал и поспешно вышел из комнаты.

ГЛАВА VII.
ПРИСТУП

Голова моя, головушка,
Голова послуживая!
Послужила моя головушка
Ровно тридцать лет и три года.
Ах, не выслужила головушка
Ни корысти себе, ни радости,
Как ни слова себе доброго
И ни рангу себе высокого;
Только выслужила головушка
Два высокие столбика,
Перекладинку кленовую,
Еще петельку шелковую.

Народная песня

В эту ночь я не спал и не раздевался. Я намерен был отправиться на заре к крепостным воротам, откуда Марья Ивановна должна была выехать, и там проститься с нею в последний раз. Я чувствовал в себе великую перемену: волнение души моей было мне гораздо менее тягостно, нежели то уныние, в котором еще недавно был я погружен. С грустию разлуки сливались во мне и неясные, но сладостные надежды, и нетерпеливое ожидание опасностей, и чувства благородного честолюбия. Ночь прошла незаметно. Я хотел уже выдти из дому, как дверь моя отворилась и ко мне явился капрал с донесением, что наши казаки ночью выступили из крепости, взяв насильно с собою Юлая, и что около крепости разъезжают неведомые люди. Мысль, что Марья Ивановна не успеет выехать, ужаснула меня; я поспешно дал капралу несколько наставлений, и тотчас бросился к коменданту.

Уж рассветало. Я летел по улице, как услышал, что зовут меня. Я остановился. «Куда вы?» — сказал Иван Игнатьич, догоняя меня. — «Иван Кузмич на валу, и послал меня за вами. Пугач пришел». — Уехала ли Марья Ивановна? — спросил я с сердечным трепетом. — «Не успела» — отвечал Иван Игнатьич: — «дорога в Оренбург отрезана; крепость окружена. Плохо, Петр Андреич!»

Мы пошли на вал, возвышение, образованное природой и укрепленное частоколом. Там уже толпились все жители крепости. Гарнизон стоял в ружье. Пушку туда перетащили накануне. Комендант расхаживал перед своим малочисленным строем. Близость опасности одушевляла старого воина бодростию необыкновенной. По степи, не в дальнем расстоянии от крепости, разъезжали человек двадцать верхами. Они, казалося, казаки, но между ими находились и башкирцы, которых легко можно было распознать по их рысьим шапкам и по колчанам. Комендант обошел свое войско, говоря солдатам: «Ну, детушки, постоим сегодня за матушку государыню, и докажем всему свету, что мы люди бравые и присяжные!» Солдаты громко изъявили усердие. Швабрин стоял подле меня и пристально глядел на неприятеля. Люди, разъезжающие в степи, заметя движение в крепости, съехались в кучку и стали между собою толковать. Комендант велел Ивану Игнатьичу навести пушку на их толпу, и сам приставил фитиль. Ядро зажужжало и пролетело над ними, не сделав никакого вреда. Наездники, рассеясь, тотчас ускакали из виду, и степь опустела.

Тут явилась на валу Василиса Егоровна и с нею Маша, не хотевшая отстать от нее. — «Ну, что?» — сказала комендантша. — «Каково идет баталья? Где же неприятель?» — Неприятель недалече, — отвечал Иван Кузмич. — Бог даст, все будет ладно. Что, Маша, страшно тебе? — «Нет, папенька», — отвечала Марья Ивановна; — «дома одной страшнее». Тут она взглянула на меня и с усилием улыбнулась. Я невольно стиснул рукоять моей шпаги, вспомня, что накануне получил ее из ее рук, как бы на защиту моей любезной. Сердце мое горело. Я воображал себя ее рыцарем. Я жаждал доказать, что был достоин ее доверенности, и с нетерпением стал ожидать решительной минуты.

В это время из-за высоты, находившейся в полверсте от крепости, показались новые конные толпы, и вскоре степь усеялась множеством людей, вооруженных копьями и сайдаками. Между ими на белом коне ехал человек в красном кафтане, с обнаженной саблею в руке: это был сам Пугачев. Он остановился; его окружили и, как видно, по его повелению, четыре человека отделились и во весь опор подскакали под самую крепость. Мы в них узнали своих изменников. Один из них держал под шапкою лист бумаги; у другого на копье воткнута была голова Юлая, которую, стряхнув, перекинул он к нам чрез частокол. Голова бедного калмыка упала к ногам коменданта. Изменники кричали: «Не стреляйте; выходите вон к государю. Государь здесь!»

«Вот я вас!» — закричал Иван Кузмич. — «Ребята! стреляй!» Солдаты наши дали залп. Казак, державший письмо, зашатался и свалился с лошади; другие поскакали назад. Я взглянул на Марью Ивановну. Пораженная видом окровавленной головы Юлая, оглушенная залпом, она казалась без памяти. Комендант подозвал капрала и велел ему взять лист из рук убитого казака. Капрал вышел в поле и возвратился, ведя под устцы лошадь убитого. Он вручил коменданту письмо. Иван Кузмич прочел его про себя и разорвал потом в клочки. Между тем мятежники видимо приготовлялись к действию. Вскоре пули начали свистать около наших ушей, и несколько стрел воткнулись около нас в землю и в частокол. «Василиса Егоровна!» — сказал комендант. — «Здесь не бабье дело; уведи Машу; видишь: девка ни жива, ни мертва».

Василиса Егоровна, присмиревшая под пулями, взглянула на степь, на которой заметно было большое движение; потом оборотилась к мужу и сказала ему: «Иван Кузмич, в животе и смерти бог волен: благослови Машу. Маша, подойди к отцу».

Маша, бледная и трепещущая, подошла к Ивану Кузмичу, стала на колени и поклонилась ему в землю. Старый комендант перекрестил ее трижды; потом поднял и, поцаловав, сказал ей изменившимся голосом: «Ну, Маша, будь счастлива. Молись богу: он тебя не оставит. Коли найдется добрый человек, дай бог вам любовь да совет. Живите, как жили мы с Василисой Егоровной. Ну, прощай. Маша. Василиса Егоровна, уведи же ее поскорей». (Маша кинулась ему

на шею, и зарыдала.) — Поцалуемся ж и мы, — сказала заплакав комендантша. — «Прощай, мой Иван Кузмич. Отпусти мне, коли в чем я тебе досадила! — „Прощай, прощай, матушка!“ — сказал комендант, обняв свою старуху. — „Ну, довольно! Ступайте, ступайте домой; да коли успеешь, надень на Машу сарафан“. Комендантша с дочерью удалились. Я глядел во след Марьи Ивановны; она оглянулась и кивнула мне головой. Тут Иван Кузмич оборотился к нам, и все внимание его устремилось на неприятеля. Мятежники съезжались около своего предводителя, и вдруг начали слезать с лошадей. „Теперь стойте крепко“ — сказал комендант; — „"будет приступ…“ В эту минуту раздался страшный визг и крики; мятежники бегом бежали к крепости. Пушка наша заряжена была картечью. Комендант подпустил их на самое близкое расстояние, и вдруг выпалил опять. Картечь хватила в самую средину толпы. Мятежники отхлынули в обе стороны и попятились. Предводитель их остался один впереди… Он махал саблею и, казалось, с жаром их уговаривал… Крик и визг, умолкнувшие на минуту, тотчас снова возобновились. „Ну, ребята“, — сказал комендант; — „теперь отворяй ворота, бей в барабан. Ребята! вперед, на вылазку, за мною!“

Комендант, Иван Игнатьич и я мигом очутились за крепостным валом; но обробелый гарнизон не тронулся. «Что ж вы, детушки, стоите?» — закричал Иван Кузмич. — «Умирать, так умирать: дело служивое!» В эту минуту мятежники набежали на нас и ворвались в крепость. Барабан умолк; гарнизон бросил ружья; меня сшибли было с ног, но я встал и вместе с мятежниками вошел в крепость. Комендант, раненый в голову, стоял в кучке злодеев, которые требовали от него ключей. Я бросился было к нему на помощь: несколько дюжих казаков схватили меня и связали кушаками, приговаривая: «Вот ужо вам будет, государевым ослушникам!» Нас потащили по улицам; жители выходили из домов с хлебом и солью. Раздавался колокольный звон. Вдруг закричали в толпе, что государь на площади ожидает пленных и принимает присягу. Народ повалил на площадь; нас погнали туда же.

Пугачев сидел в креслах на крыльце комендантского дома. На нем был красный казацкий кафтан, обшитый галунами. Высокая соболья шапка с золотыми кистями была надвинута на его сверкающие глаза. Лицо его показалось мне знакомо. Казацкие старшины окружали его. Отец Герасим, бледный и дрожащий, стоял у крыльца, с крестом в руках, и, казалось, молча умолял его за предстоящие жертвы. На площади ставили наскоро виселицу. Когда мы приближились, башкирцы разогнали народ и нас представили Пугачеву. Колокольный звон утих; настала глубокая тишина. «Который комендант?» — спросил самозванец. Наш урядник выступил из толпы и указал на Ивана Кузмича. Пугачев грозно взглянул на старика и сказал ему: «Как ты смел противиться мне, своему государю?» Комендант, изнемогая от раны, собрал последние силы и отвечал твердым голосом: «Ты мне не государь, ты вор и самозванец, слышь ты!» Пугачев мрачно нахмурился и махнул белым платком. Несколько казаков подхватили старого капитана и потащили к виселице. На ее перекладине очутился верхом изувеченный башкирец, которого допрашивали мы накануне. Он держал в руке веревку, и через минуту увидел я бедного Ивана Куэмича вздернутого на воздух. Тогда привели к Пугачеву Ивана Игнатьича. «Присягай» — сказал ему Пугачев — «государю Петру Феодоровичу!» — Ты нам не государь, — отвечал Иван Игнатьич, повторяя слова своего капитана. — Ты, дядюшка, вор и самозванец! — Пугачев махнул опять платком, и добрый поручик повис подле своего старого начальника.

Очередь была за мною. Я глядел смело на Пугачева, готовясь повторить ответ великодушных моих товарищей. Тогда, к неописанному моему изумлению, увидел я среди мятежных старшин Швабрина, обстриженного в кружок и в казацком кафтане. Он подошел к Пугачеву и сказал ему на ухо несколько слов. «Вешать его!» — сказал Пугачев, не взглянув уже на меня. Мне накинули на шею петлю. Я стал читать про себя молитву, принося богу искреннее раскаяние во всех моих прегрешениях и моля его о спасении всех близких моему сердцу. Меня притащили под виселицу. «Не бось, не бось», — повторяли мне губители, может быть, и вправду желая меня ободрить. Вдруг услышал я крик: «Постойте, окаянные! погодите!..» Палачи остановились. Гляжу: Савельич лежит в ногах у Пугачева. «Отец родной!» — говорил бедный дядька. — «Что тебе в смерти барского дитяти? Отпусти его; за него тебе выкуп дадут; а для примера и страха ради, вели повесить хоть меня старика!» Пугачев дал знак, и меня тотчас развязали и оставили. «Батюшка наш тебя милует»

— говорили мне. В эту минуту не могу сказать, чтоб я обрадовался своему избавлению, не скажу однако ж, чтоб я о нем и сожалел. Чувствования мои были слишком смутны. Меня снова привели к самозванцу и поставили перед ним на колени. Пугачев протянул мне жилистую свою руку. «Цалуй руку, цалуй руку!» — говорили около меня. Но я предпочел бы самую лютую казнь такому подлому унижению. «Батюшка Петр Андреич!» — шептал Савельич, стоя за мною и толкая меня. — «Не упрямься! что тебе стоит? плюнь да поцалуй у злод… (тьфу!) поцалуй у него ручку». Я не шевелился. Пугачев опустил руку, сказав с усмешкою: «Его благородие знать одурел от радости. Подымите его!» — Меня подняли и оставили на свободе. Я стал смотреть на продолжение ужасной комедии.

Жители начали присягать. Они подходили один за другим, цалуя распятие и потом кланяясь самозванцу. Гарнизонные солдаты стояли тут же. Ротный портной, вооруженный тупыми своими ножницами, резал у них косы. Они, отряхиваясь, подходили к руке Пугачева, который объявлял им прощение и принимал в свою шайку. все это продолжалось около трех часов. Наконец Пугачев встал с кресел и сошел с крыльца в сопровождении своих старшин. Ему подвели белого коня, украшенного богатой сбруей. Два казака взяли его под руки и посадили на седло. Он объявил отцу Герасиму, что будет обедать у него. В эту минуту раздался женский крик. Несколько разбойников вытащили на крыльцо Василису Егоровну, растрепанную и раздетую донага. Один из них успел уже нарядиться в ее душегрейку. Другие таскали перины, сундуки, чайную посуду, белье и всю рухлядь. «Батюшки мои!» — кричала бедная старушка. — «Отпустите душу на покаяние. Отцы родные, отведите меня к Ивану Кузмичу». Вдруг она взглянула на виселицу и узнала своего мужа. «Злодеи!» — закричала она в исступлении. — «Что это вы с ним сделали? Свет ты мой, Иван Кузмич, удалая солдатская головушка! не тронули тебя ни штыки прусские, ни пули турецкие; не в честном бою положил ты свой живот, а сгинул от беглого каторжника!» — Унять старую ведьму! — сказал Пугачев. Тут молодой казак ударил ее саблею по голове, и она упала мертвая на ступени крыльца. Пугачев уехал; народ бросился за ним.

ГЛАВА VIII.
НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ

Незваный гость хуже татарина.
Пословица.

Площадь опустела. Я все стоял на одном месте, и не мог привести в порядок мысли, смущенные столь ужасными впечатлениями.

Неизвестность о судьбе Марьи Ивановны пуще всего меня мучила. Где она? что с нею? успела ли спрятаться? надежно ли ее убежище?.. Полный тревожными мыслями, я вошел в комендантской дом… все было пусто; стулья, столы, сундуки были переломаны; посуда перебита; все растаскано. Я взбежал по маленькой лестнице, которая вела в светлицу, и в первый раз отроду вошел в комнату Марьи Ивановны. Я увидел ее постелю, перерытую разбойниками; шкап был разломан и ограблен; лампадка теплилась еще перед опустелым кивотом. Уцелело и зеркальцо, висевшее в простенке… Где ж была хозяйка этой смиренной, девической кельи? Страшная мысль мелькнула в уме моем: я вообразил ее в руках у разбойников… Сердце мое сжалось. . . Я горько, горько заплакал, и громко произнес имя моей любезной… В эту минуту послышался легкий шум, и из-за шкапа явилась Палаша, бледная и трепещущая.

«Ах, Петр Андреич!» — сказала она, сплеснув руками. — «Какой денЈк! какие страсти!..»

— А Марья Ивановна? — спросил я нетерпеливо, — что Марья Ивановна?

«Барышня жива» — отвечала Палаша. — «Она спрятана у Акулины Памфиловны».

— У попадьи! — вскричал я с ужасом. — Боже мой! да там Пугачев!..

Я бросился вон из комнаты, мигом очутился на улице и опрометью побежал в дом свещенника, ничего не видя и не чувствуя. Там раздавались крики, хохот и песни… Пугачев пировал с своими

товарищами. Палаша прибежала туда же за мною. Я подослал ее вызвать тихонько Акулину Памфиловну. Через минуту попадья вышла ко мне в сени с пустым штофом в руках.

— Ради бога! где Марья Ивановна? — спросил я с неизъяснимым волнением.

«Лежит, моя голубушка, у меня на кровати, там за перегородкою» — отвечала попадья. — «Ну, Петр Андреич, чуть было не стряслась беда, да слава богу, все прошло благополучно: злодей только что уселся обедать, как она, моя бедняжка, очнется да застонет!.. Я так и обмерла. Он услышал: „А кто это у тебя охает, старуха?“ Я вору в пояс: племянница моя, государь; захворала, лежит, вот уж другая неделя. — „А молода твоя племянница?“ — Молода, государь. — „А покажика мне, старуха, свою племянницу“. — У меня сердце так и йокнуло, да нечего было делать. — Изволь, государь; только девка-то не сможет встать и придти к твоей милости. — „Ничего, старуха, я и сам пойду погляжу“. И ведь пошел окаянный за перегородку; как ты думаешь! ведь отдернул занавес, взглянул ястребиными своими глазами! — и ничего… бог вынес! А веришь ли, я и батька мой так уж и приготовились к мученической смерти. К счастию, она, моя голубушка, не узнала его. Господи владыко, дождались мы праздника! Нечего сказать! бедный Иван Кузмич! кто бы подумал!.. А Василиса-то Егоровна? А Иван-то Игнатьич? Его-то за что?.. Как это вас пощадили? А каков Швабрин, Алексей Иваныч? Ведь остригся в кружок и теперь у нас тут же с ними пирует! Проворен, нечего сказать! А как сказала я про больную племянницу, так он, веришь ли, так взглянул на меня, как бы ножом насквозь; однако не выдал, спасибо ему и за то». — В эту минуту раздались пьяные крики гостей и голос отца Герасима. Гости требовали вина, хозяин кликал сожительницу. Попадья расхлопоталась. «Ступайте себе домой, Петр Андреич», — сказала она; — «теперь не до вас; у злодеев попойка идет. Беда, попадетесь под пьяную руку. Прощайте, Петр Андреич. Что будет, то будет; авось бог не оставит!»

Попадья ушла. Несколько успокоенный, я отправился к себе на квартиру. Проходя мимо площади, я увидел несколько башкирцев, которые теснились около виселицы и стаскивали сапоги с повешенных; с трудом удержал я порыв негодования, чувствуя бесполезность заступления. По крепости бегали разбойники, грабя офицерские дома. Везде раздавались крики пьянствующих мятежников. Я пришел домой. Савельич встретил меня у порога. «Слава богу!» — вскричал он, увидя меня. — «Я было думал, что злодеи опять тебя подхватили. Ну, батюшка Петр Андреич! веришь ли? все у нас разграбили, мошенники: платье, белье, вещи, посуду — ничего не оставили. Да что уж! Слава богу, что тебя живого отпустили! А узнал ли ты, сударь, атамана?».

— Нет, не узнал; а кто же он такой?

«Как, батюшка? Ты и позабыл того пьяницу, который выманил у тебя тулуп на постоялом дворе? Зайчий тулупчик совсем новJшенький, а он, бестия, его так и распорол, напяливая на себя!»

Я изумился. В самом деле сходство Пугачева с моим вожатым было разительно. Я удостоверился, что Пугачев и он были одно и то же лицо, и понял тогда причину пощады, мне оказанной. Я не мог не подивиться странному сцеплению обстоятельств; детский тулуп, подаренный бродяге, избавлял меня от петли, и пьяница, шатавшийся по постоялым дворам, осаждал крепости и потрясал государством!

«Не изволишь ли покушать?» — спросил Савельич, неизменный в своих привычках. — «Дома ничего нет; пойду, пошарю, да что-нибудь тебе изготовлю».

Оставшись один, я погрузился в размышления. Что мне было делать? Оставаться в крепости, подвластной злодею, или следовать за его шайкою было неприлично офицеру. Долг требовал, чтобы я явился туда, где служба моя могла еще быть полезна отечеству в настоящих, затруднительных обстоятельствах… Но любовь сильно советовала мне оставаться при Марьи Ивановне и быть ей защитником и покровителем. Хотя я и предвидел скорую и несомненную перемену в обстоятельствах, но все же не мог не трепетать, воображая опасность ее положения.

Размышления мои были прерваны приходом одного из казаков, который прибежал с объявлением, «что-де великий государь требует тебя к себе». — Где же он? — спросил я, готовясь повиноваться.

«В комендантском» — отвечал казак. — «После обеда батюшка наш отправился в баню, а теперь отдыхает. Ну, ваше благородие, по всему видно, что персона знатная: за обедом скушать

изволил двух жареных поросят, а парится так жарко, что и Тарас Курочкин не вытерпел, отдал веник Фомке Бикбаеву, да насилу холодной водой откачался. Нечего сказать: все приемы такие важные… А в бане, слышно, показывал царские свои знаки на грудях: на одной двуглавый орел, величиною с пятак, а на другой персона его».

Я не почел нужным оспоривать мнения казака и с ним вместе отправился в комендантской дом, заране воображая себе свидание с Пугачевым, и стараясь предугадать, чем оно кончится. Читатель легко может себе представить, что я не был совершенно хладнокровен.

Начинало смеркаться, когда пришел я к комендантскому дому. Виселица с своими жертвами страшно чернела. Тело бедной комендантши все еще валялось под крыльцом, у которого два казака стояли на карауле. Казак, приведший меня, отправился про меня доложить, и тотчас же воротившись ввел меня в ту комнату, где накануне так нежно прощался я с Марьей Ивановною.

Необыкновенная картина мне представилась: за столом, накрытым скатертью и установленным штофами и стаканами, Пугачев и человек десять казацких старшин сидели, в шапках и цветных рубашках, разгоряченные вином, с красными рожами и блистающими глазами. Между ими не было ни Швабрина, ни нашего урядника, новобраных изменников. «А, ваше благородие!» — сказал Пугачев, увидя меня. — «Добро пожаловать; честь и место, милости просим». Собеседники потеснились. Я молча сел на краю стола. Сосед мой, молодой казак, стройный и красивый, налил мне стакан простого вина, до которого я не коснулся. С любопытством стал я рассматривать сборище. Пугачев на первом месте сидел, облокотясь на стол и подпирая черную бороду своим широким кулаком. Черты лица его, правильные и довольно приятные, не изъявляли ничего свирепого. Он часто обращался к человеку лет пятидесяти, называя его то графом, то Тимофеичем, а иногда величая его дядюшкою. Все обходились между собою как товарищи, и не оказывали никакого особенного предпочтения своему предводителю. Разговор шел об утреннем приступе, об успехе возмущения и о будущих действия. Каждый хвастал, предлагал свои мнения и свободно оспоривал Пугачева. И на сем-то странном военном совете решено было идти к Оренбургу: движение дерзкое, и которое чуть было не увенчалось бедственным успехом! Поход был объявлен к завтрешнему дню. «Ну, братцы», — сказал Пугачев — «затянем-ка на сон грядущий мою любимую песенку. Чумаков! начинай!» — Сосед мой затянул тонким голоском заунывную бурлацкую песню, и все подхватили хором:

Не шуми, мати зеленая дубровушка,
Не мешай мне доброму молодцу думу думати.
Что заутра мне доброму молодцу в допрос идти
Перед грозного судью, самого царя.
Еще станет государь-царь меня спрашивать:
Ты скажи, скажи, детинушка крестьянский сын,
Уж как с кем ты воровал, с кем разбой держал,
Еще много ли с тобой было товарищей?
Я скажу тебе, надежа православный царь,
Всее правду скажу тебе, всю истину,
Что товарищей у меня было четверо:
Еще первый мой товарищ темная ночь,
А второй мой товарищ булатный нож,
А как третий-то товарищ, то мой добрый конь,
А четвертый мой товарищ, то тугой лук,
Что рассыльщики мои, то калены стрелы.
Что возговорит надежа православный царь:
Исполать тебе, детинушка крестьянский сын,
Что умел ты воровать, умел ответ держать!
Я за то тебя, детинушка, пожалую
Середи поля хоромами высокими,

Что двумя ли столбами с перекладиной.

Невозможно рассказать, какое действие произвела на меня эта простонародная песня про виселицу, распеваемая людьми, обреченными виселице. Их грозные лица, стройные голоса, унылое выражение, которое придавали они словам и без того выразительным, — все потрясало меня каким-то пиитическим ужасом.

Гости выпили еще по стакану, встали изо стола и простились с Пугачевым. Я хотел за ними последовать, но Пугачев сказал мне: «Сиди; я хочу с тобою переговорить». — Мы остались глаз на глаз.

Несколько минут продолжалось обоюдное наше молчание. Пугачев смотрел на меня пристально, изредко прищуривая левый глаз с удивительным выражением плутовства и насмешливости. Наконец он засмеялся, и с такою непритворной веселостию, что и я, глядя на него, стал смеяться, сам не зная чему.

«Что, ваше благородие?» — сказал он мне. — «Струсил ты, признайся, когда молодцы мои накинули тебе веревку на шею? Я чаю, небо с овчинку показалось… А покачался бы на перекладине, если бы не твой слуга. Я тотчас узнал старого хрыча. Ну, думал ли ты, ваше благородие, что человек, который вывел тебя к умету, был сам великий государь? (Тут он взял на себя вид важный и таинственный.) Ты крепко передо мною виноват» — продолжал он; — «но я помиловал тебя за твою добродетель, за то, что ты оказал мне услугу, когда принужден я был скрываться от своих недругов. То ли еще увидишь! Так ли еще тебя пожалую, когда получу свое государство! Обещаешься ли служить мне с усердием?»

Вопрос мошенника и его дерзость показались мне так забавны, что я не мог не усмехнуться.

«Чему ты усмехаешься? — спросил он меня нахмурясь. — „Или ты не веришь, что я великий государь? Отвечай прямо“.

Я смутился: признать бродягу государем — был я не в состоянии: это казалось мне малодушием непростительным. Назвать его в глаза обманщиком — было подвергнуть себя погибели; и то, на что был я готов под виселицею в глазах всего народа и в первом пылу негодования, теперь казалось мне бесполезной хвастливостию. Я колебался. Пугачев мрачно ждал моего ответа. Наконец (и еще ныне с самодовольствием поминаю эту минуту) чувство долга восторжествовало во мне над слабостию человеческою. Я отвечал Пугачеву: Слушай; скажу тебе всю правду. Рассуди, могу ли я признать в тебе государя? Ты человек смышленый: ты сам увидел бы, что я лукавствую.

«Кто же я таков, по твоему разумению?»

— Бог тебя знает; но кто бы ты ни был, ты шутишь опасную шутку.

Пугачев взглянул на меня быстро. «Так ты не веришь», — сказал он, — «чтоб я был государь Петр Федорович? Ну, добро. А разве нет удачи удалому? Разве в старину Гришка Отрепьев не царствовал? Думай про меня что хочешь, а от меня не отставай. Какое тебе дело до иного-прочего? Кто ни поп, тот батька. Послужи мне верой и правдою, и я тебя пожалую и в фельдмаршалы и в князья. Как ты думаешь?»

— Нет, — отвечал я с твердостию. — Я природный дворянин; я присягал государыне императрице: тебе служить не могу. Коли ты в самом деле желаешь мне добра, так отпусти меня в Оренбург.

Пугачев задумался. «А коли отпущу» — сказал он — «так обещаешься ли по крайней мере против меня не служить?»

— Как могу тебе в этом обещаться? — отвечал я. — Сам знаешь, не моя воля: велят идти против тебя — пойду, делать нечего. Ты теперь сам начальник; сам требуешь повиновения от своих. На что это будет похоже, если я от службы откажусь, когда служба моя понадобится? Голова моя в твоей власти: отпустишь меня — спасибо; казнишь — бог тебя судья; а я сказал тебе правду.

«Моя искренность поразила Пугачева. „Так и быть“ — сказал он, ударя меня по плечу. — „Казнить так казнить, миловать так миловать. Ступай себе на все четыре стороны и делай что хочешь. Завтра приходи со мною проститься, а теперь ступай себе спать, и меня уж дрема клонит“.

Я оставил Пугачева и вышел на улицу. Ночь была тихая и морозная. Месяц и звезды ярко сияли, освещая площадь и виселицу. В крепости все было спокойно и темно. Только в кабаке светился огонь и раздавались крики запоздалых гуляк. Я взглянул на дом священника. Ставни и вороты были заперты. Казалось все в нем было тихо.

Я пришел к себе на квартиру, и нашел Савельича, горюющего по моем отсутствии. Весть о свободе моей обрадовала его несказанно. «Слава тебе, владыко!» — сказал он перекрестившись. — «Чем свет оставим крепость и пойдем, куда глаза глядят. Я тебе кое-что заготовил; покушай-ка, батюшка, да и почивай себе до утра, как у Христа за пазушкой».

Я последовал его совету и, поужинав с большим аппетитом, заснул на голом полу, утомленный душевно и физически.

ГЛАВА IX.
РАЗЛУКА

Сладко было спознаваться
Мне, прекрасная, с тобой;
Грустно, грустно расставаться
Грустно, будто бы с душой.

Херасков.

Рано утром разбудил меня барабан. Я пошел на сборное место. Там строились уже толпы пугачевские около виселицы, где все еще висели вчерашние жертвы. Казаки стояли верхами, солдаты под ружьем. Знамена развевались. Несколько пушек, между коих узнал я и нашу, поставлены были на походные лафеты. Все жители находились тут же, ожидая самозванца. У крыльца комендантского дома казак держал под устцы прекрасную белую лошадь киргизской породы. Я искал глазами тела комендантши. Оно было отнесено немного в сторону и прикрыто рогожею. Наконец Пугачев вышел из сеней. Народ снял шапки. Пугачев остановился на крыльце и со всеми поздоровался. Один из старшин подал ему мешок с медными деньгами, и он стал их метать пригоршнями. Народ с криком бросился их подбирать, и дело обошлось не без увечья. Пугачева окружали главные из его сообщников. Между ими стоял и Швабрин. Взоры наши встретились; в моем он мог прочесть презрение, и он отворотился с выражением искренней злобы и притворной насмешливости. Пугачев, увидев меня в толпе, кивнул мне головою и подозвал к себе. «Слушай» — сказал он мне. — «Ступай сей же час в Оренбург и объяви от меня губернатору и всем генералам, чтоб ожидали меня к себе через неделю. Присоветуй им встретить меня с детской любовию и послушанием; не то не избежать им лютой казни. Счастливый путь, ваше благородие!» Потом обратился он к народу и сказал, указывая на Швабрина: — «Вот вам, детушки, новый командир: слушайтесь его во всем, а он отвечает мне за вас и за крепость». С ужасом услышал я сии слова: Швабрин делался начальником крепости; Марья Ивановна оставалась в его власти! Боже, что с нею будет! Пугачев сошел с крыльца. Ему подвели лошадь. Он проворно вскочил в седло, не дождавшись казаков, которые хотели было подсадить его.

В это время, из толпы народа, вижу, выступил мой Савельич, подходит к Пугачеву, и подает ему лист бумаги. Я не мог придумать, что из того выдет. «"Это что?» спросил важно Пугачев. — Прочитай, так изволишь увидеть — отвечал Савельич. Пугачев принял бумагу и долго рассматривал с видом значительным. «Что ты так мудрено пишешь?» — сказал он наконец. — «Наши светлые очи не могут тут ничего разобрать. Где мой обер-секретарь?»

Молодой малой в капральском мундире проворно подбежал к Пугачеву. «Читай в слух» — сказал самозванец, отдавая ему бумагу. Я чрезвычайно любопытствовал узнать, о чем дядька мой вздумал писать Пугачеву. Обер-секретарь громогласно стал по складам читать следующее.

«Два халата, миткалевый и шелковый полосатый, на шесть рублей».

— Это что значит? — сказал, нахмурясь, Пугачев.

— Прикажи читать далее — отвечал спокойно Савельич. Обер-секретарь продолжал:

«Мундир из тонкого зеленого сукна на семь рублей. «Штаны белые суконные на пять рублей.

«Двенадцать рубах полотняных голандских с манжетами на десять рублей.

«Погребец с чайною посудою на два рубля с полтиною…»

— Что за вранье? — прервал Пугачев. — Какое мне дело до погребцов и до штанов с манжетами?

Савельич крякнул и стал объясняться. «Это, батюшка, изволишь видеть, реестр барскому добру, раскраденному злодеями…»

— Какими злодеями? — спросил грозно Пугачев.

«Виноват: обмолвился» — отвечал Савельич. — «Злодеи не злодеи, а твои ребята таки пошарили, да порастаскали. Не гневись: конь и о четырех ногах да спотыкается. Прикажи уж дочитать»

— Дочитывай, — сказал Пугачев. Секретарь продолжал: «

«Одеяло ситцевое, другое тафтяное на хлопчатой бумаге четыре рубля.

«Шуба лисья, крытая алым ратином, 40 рублей. «

«Еще зайчий тулупчик, пожалованный твоей милости на постоялом дворе, 15 рублей».

— Это что еще! — вскричал Пугачев, сверкнув огненными глазами.

Признаюсь, я перепугался за бедного моего дядьку. Он хотел было пуститься опять в объяснения, но Пугачев его прервал: «Как ты смел лезть ко мне с такими пустяками? — вскричал он, выхватя бумагу из рук секретаря и бросив ее в лицо Савельичу. — Глупый старик! Их обобрали: экая беда? Да ты должен, старый хрыч, вечно бога молить за меня да за моих ребят, за то, что ты и с барином-то своим не висите здесь вместе с моими ослушниками… Зайчий тулуп! Я-те дам зайчий тулуп! Да знаешь ли ты, что я с тебя живого кожу велю содрать на тулупы?»

— Как изволишь, — отвечал Савельич; — а я человек подневольный и за барское добро должен отвечать.

Пугачев был видно в припадке великодушия. Он отворотился и отъехал, не сказав более ни слова. Швабрин и старшины последовали за ним. Шайка выступила из крепости в порядке. Народ пошел провожать Пугачева. Я остался на площади один с Савельичем. Дядька мой держал в руках свой реестр и рассматривал его с видом глубокого сожаления.

Видя мое доброе согласие с Пугачевым, он думал употребить оное в пользу; но мудрое намерение ему не удалось. Я стал было его бранить за неуместное усердие, и не мог удержаться от смеха. «Смейся, сударь», — отвечал Савельич; — «смейся; а как придется нам сызнова заводиться всем хозяйством, так посмотрим, смешно ли будет».

Я спешил в дом священника увидеться с Марьей Ивановной. Попадья встретила меня с печальным известием. Ночью у Марьи Ивановны открылась сильная горячка. Она лежала без памяти и в бреду. Попадья ввела меня в ее комнату. Я тихо подошел к ее кровати. Перемена в ее лице поразила меня. Больная меня не узнала. Долго стоял я перед нею, не слушая ни отца Герасима, ни доброй жены его, которые, кажется, меня утешали. Мрачные мысли волновали меня. Состояние бедной, беззащитной сироты, оставленной посреди злобных мятежников, собственное мое бессилие устрашали меня. Швабрин, Швабрин пуще всего терзал мое воображение. Облеченный властию от самозванца, предводительствуя в крепости, где оставалась несчастная девушка — невинный предмет его ненависти, он мог решиться на все. Что мне было делать? Как подать ей помощь? Как освободить из рук злодея? Оставалось одно средство: я решился тот же час отправиться в Оренбург, дабы торопить освобождение Белогорской крепости, и по возможности тому содействовать. Я простился с священником и с Акулиной Памфиловной, с жаром поручая ей ту, которую почитал уже своею женою. Я взял руку бедной девушки и поцаловал ее, орошая слезами. «Прощайте» — говорила мне попадья, провожая меня; — «прощайте, Петр Андреич. Авось увидимся в лучшее время. Не забывайте нас и пишите к нам почаще. Бедная Марья Ивановна, кроме вас, не имеет теперь ни утешения, ни покровителя».

Вышед на площадь, я остановился на минуту, взглянул на виселицу, поклонился ей, вышел из крепости и пошел по Оренбургской дороге, сопровождаемый Савельичем, который от меня не отставал.

Я шел, занятый своими размышлениями, как вдруг услышал за собою конский топот. Оглянулся; вижу: из крепости скачет казак, держа башкирскую лошадь в поводья и делая издали мне знаки. Я остановился, и вскоре узнал нашего урядника. Он, подскакав, слез с своей лошади и сказал, отдавая мне поводья другой: «Ваше благородие! Отец наш вам жалует лошадь и шубу с своего плеча (к седлу привязан был овчинный тулуп). Да еще» — примолвил запинаясь урядник — «жалует он вам… полтину денег… да я растерял ее дорогою; простите великодушно». Савельич посмотрел на него косо и проворчал: Растерял дорогою! А что же у тебя побрякивает за пазухой? Бессовестный! — «Что у меня за пазухой-то побрякивает?» — возразил урядник, нимало не смутясь. — «Бог с тобою, старинушка! Это бренчит уздечка, а не полтина». — Добро, — сказал я, — прерывая спор. — Благодари от меня того, кто тебя прислал; а растерянную полтину постарайся подобрать на возвратном пути, и возьми себе на водку. — «Очень благодарен, ваше благородие», — отвечал он, поворачивая свою лошадь; — «вечно за вас буду бога молить». При сих словах он поскакал назад, держась одной рукою за пазуху, и через минуту скрылся из виду.

Я надел тулуп и сел верьхом, посадив за собою Савельича. «Вот видишь ли, сударь», — сказал старик, — «что я не даром подал мошеннику челобитье: вору-то стало совестно, хоть башкирская долговязая кляча да овчинный тулуп не стоят и половины того, что они, мошенники, у нас украли, и того, что ты ему сам изволил пожаловать; да все же пригодится, а с лихой собаки хоть шерсти клок».

ГЛАВА X.
ОСАДА ГОРОДА

Заняв луга и горы,
С вершины, как орел, бросал на град он взоры.
За станом повелел соорудить раскат,
И в нем перуны скрыв, в нощи привесть под град.

Херасков.

Приближаясь к Оренбургу, увидели мы толпу колодников с обритыми головами, с лицами, обезображенными щипцами палача. Они работали около укреплений, под надзором гарнизонных инвалидов. Иные вывозили в тележках сор, наполнявший ров; другие лопатками копали землю; на валу каменщики таскали кирпич, и чинили городскую стену. У ворот часовые остановили нас и потребовали наших паспортов. Как скоро сержант услышал, что я еду из Белогорской крепости, то и повел меня прямо в дом генерала.

Я застал его в саду. Он осматривал яблони, обнаженные дыханием осени, и с помощию старого садовника бережно их укутывал теплой соломой. Лицо его изображало спокойствие, здоровье и добродушие. Он мне обрадовался, и стал расспрашивать об ужасных происшедствиях, коим я был свидетель. Я рассказал ему все. Старик слушал меня со вниманием и между тем отрезывал сухие ветви. «Бедный Миронов!» — сказал он, когда кончил я свою печальную повесть. — «Жаль его: хороший был офицер. И мадам Миронов добрая была дама, и какая майстерица грибы солить! А что Маша, капитанская дочка?» Я отвечал, что она осталась в крепости на руках у попадьи. «Ай, ай, ай! — заметил генерал. — Это плохо, очень плохо. На дисциплину разбойников никак нельзя положиться. Что будет с бедной девушкою?» — Я отвечал, что до Белогорской крепости недалеко и что вероятно его превосходительство не замедлит выслать войско для освобождения бедных ее жителей. Генерал покачал годовую с видом недоверчивости. «Посмотрим, посмотрим» — сказал он. — «Об этом мы еще успеем потолковать. Прошу ко мне пожаловать на чашку чаю: сегодня у

меня будет военный совет. Ты можешь нам дать верные сведения о бездельнике Пугачеве и об его войске. Теперь покаместь поди отдохни».

Я пошел на квартиру, мне отведенную, где Савельич уже хозяйничал, и с нетерпением стал ожидать назначенного времени. Читатель легко себе представит, что я не преминул явиться на совет, долженствовавший иметь такое влияние на судьбу мою. В назначенный час я уже был у генерала.

Я застал у него одного из городских чиновников, помнится, директора таможни, толстого и румяного старичка в глазетовом кафтане. Он стал расспрашивать меня о судьбе Ивана Кузмича, которого называл кумом, и часто прерывал мою речь дополнительными вопросами и нравоучительными замечаниями, которые, если и не обличали в нем человека сведущего в военном искусстве, то по крайней мере обнаруживали сметливость и природный ум. Между тем собрались и прочие приглашенные. Между ими, кроме самого генерала, не было ни одного военного человека. Когда все уселись и всем разнесли по чашке чаю, генерал изложил весьма ясно и пространно, в чем состояло дело: «Теперь, господа», — продолжал он, — «надлежит решить, как нам действовать противу мятежников: наступательно, или оборонительно? Каждый из оных способов имеет свою выгоду и невыгоду. Действие наступательное представляет более надежды на скорейшее истребление неприятеля; действие оборонительное более верно и безопасно… Итак начнем собирать голоса по законному порядку, то есть, начиная с младших по чину. Г. прапорщик!» — продолжал он, обращаясь ко мне. — «Извольте объяснить нам ваше мнение».

Я встал и, в коротких словах описав сперва Пугачева и шайку его, сказал утвердительно, что самозванцу способа не было устоять противу правильного оружия.

Мнение мое было принято чиновниками с явною неблагосклонностию. Они видели в нем опрометчивость и дерзость молодого человека. Поднялся ропот, и я услышал явственно слово: молокосос, произнесенное кем-то вполголоса. Генерал обратился ко мне и сказал с улыбкою: «Г. прапорщик! Первые голоса на военных советах подаются обыкновенно в пользу движений наступательных; это законный порядок. Теперь станем продолжать собирание голосов. Г. коллежский советник! скажите нам ваше мнение!»

Старичок в глазетовом кафтане поспешно допил третью свою чашку, значительно разбавленную ромом, и отвечал генералу: «Я думаю, ваше превосходительство, что не должно действовать ни наступательно, ни оборонительно».

«Как же так, господин коллежский советник?» — возразил изумленный генерал. — «Других способов тактика не представляет: движение оборонительное, или наступательное…»

— Ваше превосходительство, двигайтесь подкупательно.

«Y-хе-хе! мнение ваше весьма благоразумно. Движения подкупательные тактикою допускаются, и мы воспользуемся вашим советом. Можно будет обещать за голову бездельника… рублей семьдесят или даже сто… из секретной суммы…»

— И тогда, — прервал таможенный директор, — будь я киргизской баран, а не коллежский советник, если эти воры не выдадут нам своего атамана, скованного по рукам и по ногам.

«Мы еще об этом подумаем и потолкуем» — отвечал генерал. — «Однако, надлежит во всяком случае предпринять и военные меры. Господа, подайте голоса ваши по законному порядку».

Все мнения оказались противными моему. Все чиновники говорили о ненадежности войск, о неверности удачи, об осторожности, и тому подобном. Все полагали, что благоразумнее оставаться под прикрытием пушек, за крепкой каменной стеною, нежели на открытом поле испытывать счастие оружия. Наконец генерал, выслушав все мнения, вытрехнул пепел из трубки и произнес следующую речь:

«Государи мои! должен я вам объявить, что с моей стороны я совершенно с мнением господина прапорщика согласен: ибо мнение сие основано на всех правилах здравой тактики, которая всегда почти наступательные движения оборонительным предпочитает».

Тут он остановился, и стал набивать свою трубку. Самолюбие мое торжествовало. Я гордо посмотрел на чиновников, которые между собою перешептывались с видом неудовольствия и беспокойства.

«Но, государи мои», — продолжал он, выпустив, вместе с глубоким вздохом, густую струю табачного дыму — «я не смею взять на себя столь великую ответственность, когда дело идет о безопасности вверенных мне провинций ее императорским величеством, всемилостивейшей моею государыней. Итак я соглашаюсь с большинством голосов, которое решило, что всего благоразумнее и безопаснее внутри города ожидать осады, а нападения неприятеля силой артиллерии и (буде окажется возможным) вылазками — отражать».

Чиновники в свою очередь насмешливо поглядели на меня. Совет разошелся. Я не мог не сожалеть о слабости почтенного воина, который, наперекор собственному убеждению, решался следовать мнениям людей несведущих и неопытных.

Спустя несколько дней после сего знаменитого совета, узнали мы, что Пугачев, верный своему обещанию, приближился к Оренбургу. Я увидел войско мятежников с высоты городской стены. Мне показалось, что число их вдесятеро увеличилось со времени последнего приступа, коему был я свидетель. При них была и артиллерия, взятая Пугачевым в малых крепостях, им уже покоренных. Вспомня решение совета, я предвидел долговременное заключение в стенах оренбургских, и чуть не плакал от досады.

Не стану описывать оренбургскую осаду, которая принадлежит истории, а не семейственным запискам. Скажу вкратце, что сия осада по неосторожности местного начальства была гибельна для жителей, которые претерпели голод и всевозможные бедствия. Легко можно себе вообразить, что жизнь в Оренбурге была самая несносная. Все с унынием ожидали решения своей участи; все охали от дороговизны, которая в самом деле была ужасна. Жители привыкли к ядрам, залетавшим на их дворы; даже приступы Пугачева уж не привлекали общего любопытства. Я умирал со скуки. Время шло. Писем из Белогорской крепости я не получал. Все дороги были отрезаны. Разлука с Марьей Ивановной становилась мне нестерпима. Неизвестность о ее судьбе меня мучила. Единственное развлечение мое состояло в наездничестве. По милости Пугачева, я имел добрую лошадь, с которой делился скудной пищею и на которой ежедневно выезжал я за город перестреливаться с пугачевскими наездниками. В этих перестрелках перевес был обыкновенно на стороне злодеев, сытых, пьяных и доброконных. Тощая городовая конница не могла их одолеть. Иногда выходила в поле и наша голодная пехота; но глубина снега мешала ей действовать удачно противу рассеянных наездников. Артиллерия тщетно гремела с высоты вала, а в поле вязла и не двигалась по причине изнурения лошадей. Таков был образ наших военных действий! И вот что оренбургские чиновники называли осторожностию и благоразумием!

Однажды, когда удалось нам как-то рассеять и прогнать довольно густую толпу, наехал я на казака, отставшего от своих товарищей; я готов был уже ударить его своею турецкою саблею, как вдруг он снял шапку и закричал: «Здравствуйте, Петр Андреич! Как вас бог милует?»

Я взглянул и узнал нашего урядника. Я несказанно ему обрадовался. — Здравствуй, Максимыч, — сказал я ему. — Давно ли из Белогорской?

«Недавно, батюшка Петр. Андреич; только вчера воротился. У меня есть к вам письмецо».

— Где ж оно? — вскричал я, весь так и вспыхнув.

«Со мною» — отвечал Максимыч, положив руку за пазуху. — «Я обещался Палаше уж как-нибудь да вам доставить». Тут он подал мне сложенную бумажку и тотчас ускакал. Я развернул ее и с трепетом прочел следующие строки:

«Богу угодно было лишить меня вдруг отца и матери: не имею на земле ни родни, ни покровителей. Прибегаю к вам, зная, что вы всегда желали мне добра, и что вы всякому человеку готовы помочь. Молю бога, чтоб это письмо как-нибудь до вас дошло! Максимыч обещал вам его доставить. Палаша слышала так же от Максимыча, что вас он часто издали видит на вылазках, и что вы совсем себя не бережете и не думаете о тех, которые за вас со слезами бога молят. Я долго была больна; а когда выздоровела, Алексей Иванович, который командует у нас на месте покойного батюшки, принудил отца Герасима выдать меня ему, застращав Пугачевым. Я живу в нашем доме под караулом. Алексей Иванович принуждает меня выдти за него замуж. Он говорит, что спас мне жизнь, потому что прикрыл обман Акулины Памфиловны, которая сказала злодеям, будто бы я ее племянница. А мне легче было бы умереть, нежели сделаться женою такого человека,

каков Алексей Иванович. Он обходится со мною очень жестоко и грозится, коли не одумаюсь и не соглашусь, то привезет меня в лагерь к злодею, и с вами-де то же будет, что с Лизаветой Харловой. Я просила Алексея Ивановича дать мне подумать. Он согласился ждать еще три дня; а коли через три дня за него не выду, так уж никакой пощады не будет. Батюшка Петр Андреич! вы один у меня покровитель; заступитесь за меня бедную. Упросите генерала и всех командиров прислать к нам поскорее сикурсу, да приезжайте сами, если можете. Остаюсь вам покорная бедная сирота

Марья Миронова».

Прочитав это письмо, я чуть с ума не сошел. Я пустился в город, без милосердия пришпоривая бедного моего коня. Дорогою придумывал я и то и другое для избавления бедной девушки и ничего не мог выдумать. Прискакав в город, я отправился прямо к генералу и опрометью к нему вбежал.

Генерал ходил взад и вперед по комнате, куря свою пенковую трубку. Увидя меня, он остановился. Вероятно, вид мой поразил его он заботливо осведомился о причине моего поспешного прихода. — Ваше превосходительство, — сказал я ему, — прибегаю к вам, как к отцу родному; ради бога, не откажите мне в моей просьбе: дело идет о счастии всей моей жизни.

«Что такое, батюшка?» — спросил изумленный старик. — «Что я могу для тебя сделать? Говори».

— Ваше превосходительство, прикажите взять мне роту солдат и пол-сотни казаков и пустите меня очистить Белогорскую крепость.

Генерал глядел на меня пристально, полагая, вероятно, что я с ума сошел (в чем почти и не ошибался).

«Как это? Очистить Белогорскую крепость?» — сказал он наконец.

— Ручаюсь вам за успех, — отвечал я с жаром. — Только отпустите меня.

«Нет, молодой человек», — сказал он качая головою — «На таком великом расстоянии неприятелю легко будет отрезать вас от комуникации с главным стратегическим пунктом и получить над вами совершенную победу. Пресеченная комуникация…»

Я испугался, увидя его завлеченного в военные рассуждения, и спешил его прервать. — Дочь капитана Миронова, — сказал я ему, — пишет ко мне письмо: она просит помощи; Швабрин принуждает ее выдти за него замуж.

«Неужто? О, этот Швабрин превеликий Schelm, и если попадется ко мне в руки, то я велю его судить в 24 часа, и мы расстреляем его на парапете крепости! Но покаместь надобно взять терпение….

— Взять терпение! — вскричал я вне себя. — А он между тем женится на Марье Ивановне!..

«О!» — возразил генерал. — «Это еще не беда: лучше ей быть покаместь женою Швабрина: он теперь может оказать ей протекцию; а когда его расстреляем, тогда, бог даст, сыщутся ей и женишки. Миленькие вдовушки в девках не сидят; то есть, хотел я сказать, что вдовушка скорее найдет себе мужа, нежели девица».

— Скорее соглашусь умереть, — сказал я в бешенстве, — нежели уступить ее Швабрину!

«Ба, ба, ба, ба!» — сказал старик. — «Теперь понимаю: ты, видно, в Марью Ивановну влюблен. О, дело другое! Бедный малый! Но все же я никак не могу дать тебе роту солдат и пол-сотни казаков. Эта экспедиция была бы неблагоразумна; я не могу взять ее на свою ответственность».

Я потупил голову; отчаяние мною овладело. Вдруг мысль мелькнула в голове моей:[1] в чем оная состояла, читатель увидит из следующей главы, как говорят старинные романисты.

ГЛАВА XI.
МЯТЕЖНАЯ СЛОБОДА

В ту пору лев был сыт, хоть с роду он свиреп.
«Зачем пожаловать изволил в мой вертеп?» –
Спросил он ласково.

А. Сумароков.

Я оставил генерала и поспешил на свою квартиру. Савельич встретил меня с обыкновенным своим увещанием. «Охота тебе, сударь, переведываться с пьяными разбойниками! Боярское ли это дело? Не равJн час: ни за что пропадешь. И добро бы уж ходил ты на турку или на шведа, а то грех и сказать на кого».

Я прервал его речь вопросом: сколько у меня всего-на-все денег? «Будет с тебя» — отвечал он с довольным видом. — «Мошенники как там ни шарили, а я все-таки успел утаить». И с этим словом он вынул из кармана длинный вязаный кошелек полный серебра.[2] — Ну, Савельич, — сказал я ему, — отдай же мне теперь половину; а остальное возьми себе. Я еду в Белогорскую крепость.

«Батюшка Петр Андреич!» — сказал добрый дядька дрожащим голосом. — «Побойся бога; как тебе пускаться в дорогу в нынешнее время, когда никуда проезду нет от разбойников! Пожалей ты хоть своих родителей, коли сам себя не жалеешь. Куда тебе ехать? Зачем? Погоди маленько: войска придут, переловят мошенников; тогда поезжай себе хоть на все четыре стороны».

Но намерение мое было твердо принято. — Поздно рассуждать, — отвечал я старику. — Я должен ехать, я не могу не ехать. Не тужи, Савельич: бог милостив; авось увидимся! Смотри же, не совестись и не скупись. Покупай, что тебе будет нужно, хоть в три-дорога. Деньги эти я тебе дарю. Если через три дня я не ворочусь…

«Что ты это, сударь?» — прервал меня Савельич. — «Чтоб я тебя пустил одного! Да этого и во сне не проси. Коли ты уж решился ехать, то я хоть пешком да пойду за тобой, а тебя не покину. Чтоб я стал без тебя сидеть за каменной стеною? Да разве я с ума сошел? Воля твоя, сударь, а я от тебя не отстану».

Я знал, что с Савельичем спорить было нечего, и позволил ему приготовляться в дорогу. Через пол часа я сел на своего доброго коня, а Савельич на тощую и хромую клячу, которую даром отдал ему один из городских жителей, не имея более средств кормить ее. Мы приехали к городским воротам; караульные нас пропустили; мы выехали из Оренбурга.

Начинало смеркаться.[3] Путь мой шел мимо Бердской слободы, пристанища Пугачевского. Прямая дорога занесена была снегом; но по всей степи видны были конские следы, ежедневно обновляемые. Я ехал крупной рысью. Савельич едва мог следовать за мною издали, и кричал мне поминутно: «Потише, сударь, ради бога потише. Проклятая клячонка моя не успевает за твоим долгоногим бесом. Куда спешишь? Добро бы на пир, а то под обух, того и гляди… Петр Андреич… батюшка Петр Андреич!.. Не погуби!.. Господи владыко, пропадет барское дитя!».

Вскоре засверкали Бердские огни. Мы подъехали к оврагам, естественным укреплениям слободы. Савельич от меня не отставал, не прерывая жалобных своих молений. Я надеялся объехать слободу благополучно, как вдруг увидел в сумраке прямо перед собой человек пять мужиков, вооруженных дубинами; это был передовой караул пугачевского пристанища. Нас окликали. Не зная пароля, я хотел молча проехать мимо их; но они меня тотчас окружили, и один из них схватил лошадь мою за узду. Я выхватил саблю, и ударил мужика по голове; шапка спасла его, однако он зашатался и выпустил из рук узду. Прочие смутились и отбежали; я воспользовался этой минутою, пришпорил лошадь и поскакал.

Темнота приближающейся ночи могла избавить меня от всякой опасности, как вдруг, оглянувшись, увидел я, что Савельича со мною не было. Бедный старик на своей хромой лошади не мог ускакать от разбойников. Что было делать? Подождав его несколько минут, и удостоверясь в том, что он задержан, я поворотил лошадь и отправился его выручать.

Подъезжая к оврагу, услышал я издали шум, крики и голос моего Савельича. Я поехал скорее, и вскоре очутился снова между караульными мужиками, остановившими меня несколько минут тому назад. Савельич находился между ими. Они стащили старика с его клячи и готовились вязать. Прибытие мое их обрадовало. Они с криком бросились на меня и мигом стащили с лошади. Один из них, повидимому главный, объявил нам, что он сейчас поведет нас к государю. «А наш батюшка» — прибавил он — «волен приказать: сейчас ли вас повесить, али дождаться свету божия». Я не противился; Савельич последовал моему примеру, и караульные повели нас с торжеством.

Мы перебрались через овраг и вступили в слободу. Во всех избах горели огни. Шум и крики раздавались везде. На улице я встретил множество народу; но никто в темноте нас не заметил и не узнал во мне оренбургского офицера. Нас привели прямо к избе, стоявшей на углу перекрестка. У ворот стояло несколько винных бочек и две. пушки. «Вот и дворец» — сказал один из мужиков: — «сейчас об вас доложим». Он вошел в избу. Я взглянул на Савельича; старик крестился, читая про себя молитву. Я дожидался долго; наконец мужик воротился и сказал мне: «Ступай: наш батюшка велел впустить офицера».

Я вошел в избу, или во дворец, как называли ее мужики. Она освещена была двумя сальными свечами, а стены оклеяны были золотою бумагою; впрочем, лавки, стол, рукомойник на веревочке, полотенце на гвозде, ухват в углу и широкий шесток, уставленный горшками,-все было как в обыкновенной избе. Пугачев сидел под образами, в красном кафтане, в высокой шапке, и важно подбочась. Около него стояло несколько из главных его товарищей, с видом притворного подобострастия. Видно было, что весть о прибытии офицера из Оренбурга пробудила в бунтовщиках сильное любопытство, и что они приготовились встретить меня с торжеством. Пугачев узнал меня с первого взгляду. Поддельная важность его вдруг исчезла. «А, ваше благородие!» — сказал он мне с живостию. — «Как поживаешь? За чем тебя бог принес?"[4] Я отвечал, что ехал по своему делу и что люди его меня остановили. «А по какому делу?» спросил он меня. Я не знал, что отвечать. Пугачев, пологая, что я не хочу объясняться при свидетелях, обратился к своим товарищам и велел им выдти. Все послушались, кроме двух, которые не тронулись с места. «Говори смело при них» — сказал мне Пугачев: — «от них я ничего не таю». Я взглянул наискось на наперсников самозванца. Один из них, щедушный и сгорбленный старичок с седою бородкою, не имел в себе ничего замечательного, кроме голубой ленты, надетой через плечо по серому армяку. Но ввек не забуду его товарища. Он был высокого росту, дороден и широкоплеч, и показался мне лет сорока пяти. Густая рыжая борода, серые сверкающие глаза, нос без ноздрей и красноватые пятна на лбу и на щеках придавали его рябому широкому лицу выражение неизъяснимое. Он был в красной рубахе, в киргизском халате и в казацких шароварах. Первый (как узнал я после) был беглый капрал Белобородов; второй Афанасий Соколов (прозванный Хлопушей), ссыльный преступник, три раза бежавший из сибирских рудников.[5] Не смотря на чувства, исключительно меня волновавшие, общество, в котором я так нечаянно очутился, сильно развлекало мое воображение. Но Пугачев привел меня в себя своим вопросом: «Говори: по какому же делу выехал ты из Оренбурга?»

Странная мысль пришла мне в голову: мне показалось, что провидение, вторично приведшее меня к Пугачеву, подавало мне случай привести в действо мое намерение. Я решился им воспользоваться и, не успев обдумать то, на что решался, отвечал на вопрос Пугачева:

— Я ехал в Белогорскую крепость избавить сироту, которую там обижают.

Глаза у Пугачева засверкали. «Кто из моих людей смеет обижать сироту?» — закричал он. — «Будь он семи пядень во лбу, а от суда моего не уйдет. Говори: кто виноватый?»

— Швабрин виноватый, — отвечал я. — Он держит в неволе ту девушку, которую ты видел, больную, у попадьи, и насильно хочет на ней жениться.

«Я проучу Швабрина» — сказал грозно Пугачев. — «Он узнает, каково у меня своевольничать и обижать народ. Я его повешу».

«Прикажи слово молвить» — сказал Хлопуша хриплым голосом. — «Ты поторопился назначить Швабрина в коменданты крепости, а теперь торопишься его вешать. Ты уж оскорбил казаков, посадив дворянина им в начальники; не пугай же дворян, казня их по первому наговору».

«Нечего их ни жалеть, ни жаловать!» — сказал старичок в голубой ленте. — «Швабрина сказнить не беда; а не худо и господина офицера допросить порядком: зачем изволил пожаловать. Если он тебя государем не признает, так нечего у тебя и управы искать, а коли признает, что же он до сегодняшнего дня сидел в Оренбурге с твоими супостатами? Не прикажешь ли свести его в приказную, да запалить там огоньку: мне сдается, что его милость подослан к нам от оренбургских командиров».

Логика старого злодея показалась мне довольно убедительною. Мороз пробежал по всему моему телу, при мысли, в чьих руках я находился. Пугачев заметил мое смущение. «Ась, ваше благородие?» — сказал он мне подмигивая. — «Фельдмаршал мой, кажется, говорит дело. Как ты думаешь?»

Насмешка Пугачева возвратила мне бодрость. Я спокойно отвечал что я нахожусь в его власти и что он волен поступать со мною, как ему будет угодно.[6]

«Добро» — сказал Пугачев. — «Теперь скажи, в каком состоянии ваш город».

— Слава богу, — отвечал я; — все благополучно. «

«Благополучно?» — повторил Пугачев. — «А народ мрет с голоду!»

Самозванец говорил правду; но я по долгу присяги стал уверять что все это пустые слухи, и что в Оренбурге довольно всяких запасов.

«Ты видишь» — подхватил старичок, — «что он тебя в глаза обманывает. Все беглецы согласно показывают, что в Оренбурге голод и мор, что там едят мертвечину, и то за честь; а его милость уверяет, что всего вдоволь. Коли ты Швабрина хочешь повесить, то уж на той же виселице повесь и этого молодца, чтоб никому не было завидно».

Слова проклятого старика, казалось, поколебали Пугачева. К счастию Хлопуша стал противоречить своему товарищу. «Полно, Наумыч», — сказал он ему. — «Тебе бы все душить, да резать. Что ты за богатырь? Поглядеть, так в чем душа держится.[7] Сам в могилу смотришь, а других губишь. Разве мало крови на твоей совести?»

— Да ты что за угодник? — возразил Белобородов. — У тебя-то откуда жалость взялась?

«Конечно» — отвечал Хлопуша, — «и я грешен, и эта рука (тут он сжал свой костливый кулак, и, засуча рукава, открыл косматую руку), и эта рука повинна в пролитой христианской крови. Но я губил супротивника, а не гостя; на вольном перепутьи да в темном лесу, не дома, сидя за печью; кистенем и обухом, а не бабьим наговором».

Старик отворотился и проворчал слова: «рваные ноздри!»…

— Что ты там шепчешь, старый хрыч? — закричал Хлопуша. — Я тебе дам рваные ноздри; погоди, придет и твое время; бог даст, и ты щипцов понюхаешь… А покаместь смотри, чтоб я тебе бородишки не вырвал!

«Господа енаралы!» — провозгласил важно Пугачев. — «Полна вам ссориться. Не беда, если б и все оренбургские собаки дрыгали ногами под одной перекладиной; беда, если наши кобели меж собою перегрызутся. Ну, помиритесь».

Хлопуша и Белобородов не сказали ни слова, и мрачно смотрели друг на друга. Я увидел необходимость переменить разговор, который мог кончиться для меня очень невыгодным образом, и, обратясь к Пугачеву, сказал ему с веселым видом: Ах! я было и забыл благодарить тебя за лошадь и за тулуп. Без тебя я не добрался бы до города и замерз бы на дороге.

Уловка моя удалась. Пугачев развеселился. «Долг платежом красен», — сказал он, мигая и прищуриваясь. — «Расскажи-ка мне теперь, какое тебе дело до той девушки, которую Швабрин обижает? Уж не зазноба ли сердцу молодецкому? а?»

— Она невеста моя, — отвечал я Пугачеву, видя благоприятную перемену погоды и не находя нужды скрывать истину.

«Твоя невеста!» — закричал Пугачев. — «Что ж ты прежде не сказал? Да мы тебя женим, и на свадьбе твоей попируем!» — Потом обращаясь к Белобородову: — «Слушай, фельдмаршал! Мы с его благородием старые приятели; сядем-ка да поужинаем; утро вечера мудренее. Завтра посмотрим, что с ним сделаем».

Я рад был отказаться от предлагаемой чести, но делать было нечего. Две молодые казачки, дочери хозяина избы, накрыли стол белой скатертью, принесли хлеба, ухи и несколько штофов с вином и пивом, и я вторично очутился за одною трапезою с Пугачевым и с его страшными товарищами.

Оргия, коей я был невольным свидетелем, продолжалась до глубокой ночи. Наконец хмель начал одолевать собеседников. Пугачев задремал, сидя на своем месте; товарищи его встали и дали мне знак оставить его.[8] Я вышел вместе с ними. По распоряжению Хлопуши, караульный отвел

меня в приказную избу, где я нашел и Савельича и где меня оставили с ним взаперти. Дядька был в таком изумлении при виде всего, что происходило, что не сделал мне никакого вопроса. Он улегся в темноте, и долго вздыхал и охал; наконец захрапел, а я предался размышлениям, которые во всю ночь ни на одну минуту не дали мне задремать.

Поутру пришли меня звать от имени Пугачева. Я пошел к нему. У ворот его стояла кибитка, запряженная тройкою татарских лошадей. Народ толпился на улице. В сенях встретил я Пугачева: он был одет по-дорожному, в шубе и в киргизской шапке. Вчерашние собеседники окружали его, приняв на себя вид подобострастия, который сильно противуречил всему, чему я был свидетелем накануне. Пугачев весело со мною поздоровался, и велел мне садиться с ним в кибитку.

Мы уселись. «В Белогорскую крепость!» — сказал Пугачев широкоплечему татарину, стоя правящему тройкою. Сердце мое сильно забилось. Лошади тронулись, колокольчик загремел, кибитка полетела…

«Стой! стой!» раздался голос, слишком мне знакомый, — и я увидел Савельича, бежавшего нам на встречу. Пугачев велел остановиться. «Батюшка, Петр Андреич!» — кричал дядька. — «Не покинь меня на старости лет посреди этих мошен…» — А, старый хрыч! — сказал ему Пугачев. — Опять бог дал свидеться. Ну, садись на облучок.

«Спасибо, государь, спасибо, отец родной!» — говорил Савельич усаживаясь. — «Дай бог тебе сто лет здравствовать за то, что меня старика призрил и успокоил. Век за тебя буду бога молить, а о зайчьем тулупе и упоминать уж не стану».

Этот зайчий тулуп мог наконец не на шутку рассердить Пугачева. К счастию, самозванец или не расслыхал или пренебрег неуместным намеком. Лошади поскакали; народ на улице останавливался и кланялся в пояс. Пугачев кивал головою на обе стороны. Через минуту мы выехали из слободы и помчались по гладкой дороге.

Легко можно себе представить, что чувствовал я в эту минуту. Через несколько часов должен я был увидеться с той, которую почитал уже для меня потерянною. Я воображал себе минуту нашего соединения… Я думал также и о том человеке, в чьих руках находилась моя судьба, и который по странному стечению обстоятельств таинственно был со мною связан. Я вспоминал об опрометчивой жестокости, о кровожадных привычках того, кто вызывался быть и избавителем моей любезной! Пугачев не знал, что она была дочь капитана Миронова; озлобленный Швабрин мог открыть ему все; Пугачев мог проведать истину и другим образом… Тогда что станется с Марьей Ивановной? Холод пробегал по моему телу, и волоса становились дыбом…

Вдруг Пугачев прервал мои размышления, обратясь ко мне с вопросом:

«О чем, ваше благородие, изволил задуматься?»

— Как не задуматься, — отвечал я ему. — Я офицер и дворянин; вчера еще дрался противу тебя, а сегодня еду с тобой в одной кибитке, и счастие всей моей жизни зависит от тебя.

«Что ж?» — спросил Пугачев. — «Страшно тебе?»

Я отвечал, что быв однажды уже им помилован, я надеялся не только на его пощаду, но даже и на помощь.

«И ты прав, ей богу прав!» — сказал самозванец. — «Ты видел, что мои ребята смотрели на тебя косо; а старик и сегодня настаивал на том, что ты шпион, и что надобно тебя пытать и повесить; но я не согласился», — прибавил он, понизив голос, чтоб Савельич и татарин не могли его услышать, — «помня твой стакан вина и зайчий тулуп. Ты видишь, что я не такой еще кровопийца, как говорит обо мне ваша братья».

Я вспомнил взятие Белогорской крепости; но не почел нужным его оспоривать, и не отвечал ни слова.

«Что говорят обо мне в Оренбурге?» — спросил Пугачев, помолчав немного.

— Да говорят, что с тобою сладить трудновато; нечего сказать: дал ты себя знать.

Лицо самозванца изобразило довольное самолюбие. «Да!» — сказал он с веселым видом. — «Я воюю хоть куда. Знают ли у вас в Оренбурге о сражении под Юзеевой? Сорок енаралов убито, четыре армии взято в полон. Как ты думаешь: прусский король мог ли бы со мною потягаться?»

Хвастливость разбойника показалась мне забавна. — Сам как ты думаешь? — сказал я ему, — управился ли бы ты с Фридериком?

«С Федор Федоровичем? А как же нет? С вашими енаралами ведь я же управляюсь; а они его бивали. Доселе оружие мое было счастливо. Дай срок, то ли еще будет, как пойду на Москву».

— А ты полагаешь идти на Москву?

Самозванец несколько задумался и сказал в пол-голоса: «Бог весть. Улица моя тесна; воли мне мало. Ребята мои умничают. Они воры. Мне должно держать ухо востро; при первой неудаче они свою шею выкупят моею головою».

— То-то! — сказал я Пугачеву. — Не лучше ли тебе отстать от них самому, заблаговременно, да прибегнуть к милосердию государыни?

Пугачев горько усмехнулся. «Нет», — отвечал он; — «поздно мне каяться. Для меня не будет помилования. Буду продолжать как начал. Как знать? Авось и удается! Гришка Отрепьев ведь поцарствовал же над Москвою».

— А знаешь ты, чем он кончил? Его выбросили из окна, зарезали, сожгли, зарядили его пеплом пушку и выпалили!

«Слушай» — сказал Пугачев с каким-то диким вдохновением. — «Расскажу тебе сказку, которую в ребячестве мне рассказывала старая калмычка. Однажды орел спрашивал у ворона: скажи, ворон-птица, отчего живешь ты на белом свете триста лет, а я всего-на-все только тридцать три года? — Оттого, батюшка, отвечал ему ворон, что ты пьешь живую кровь, а я питаюсь мертвечиной. Орел подумал: давай попробуем и мы питаться тем же. Хорошо. Полетели орел да ворон. Вот завидели палую лошадь; спустились и сели. Ворон стал клевать, да похваливать. Орел клюнул раз, клюнул другой, махнул крылом и сказал ворону: нет, брат ворон; чем триста лет питаться падалью, лучше раз напиться живой кровью, а там что бог даст! — Какова калмыцкая сказка?»

— Затейлива, — отвечал я ему. — Но жить убийством и разбоем значит по мне клевать мертвечину.

Пугачев посмотрел на меня с удивлением и ничего не отвечал. Оба мы замолчали, погрузясь каждый в свои размышления. Татарин затянул унылую песню; Савельич, дремля, качался на облучке. Кибитка летела по гладкому зимнему пути… Вдруг увидел я деревушку на крутом берегу Яика, с частоколом и с колокольней — и через четверть часа въехали мы в Белогорскую крепость.

ГЛАВА XII.
СИРОТА

Как у нашей у яблонки
Ни верхушки нет, ни отросточек;
Как у нашей у княгинюшки
Ни отца нету, ни матери.
Снарядить-то ее некому,
Благословить-то ее некому.

Свадебная песня.

Кибитка подъехала к крыльцу комендантского дома. Народ узнал колокольчик Пугачева и толпою бежал за нами. Швабрин встретил самозванца на крыльце. Он был одет казаком и отрастил себе бороду. Изменник помог Пугачеву вылезть из кибитки, в подлых выражениях изъявляя свою радость и усердие. Увидя меня, он смутился, но вскоре оправился, протянул мне руку, говоря: «И ты наш? Давно бы так!» — Я отворотился от него и ничего не отвечал. Сердце мое заныло, когда очутились мы в давно знакомой комнате где на стене висел еще диплом покойного коменданта, как печальная эпитафия прошедшему времени. Пугачев сел на том диване, на котором, бывало, дремал Иван Кузмич, усыпленный ворчанием своей супруги. Швабрин сам поднес ему водки. Пугачев выпил рюмку, и сказал ему, указав на меня: «Попотчуй и его благородие». Швабрин подошел ко мне с своим подносом; но я вторично от него отворотился. Он казался сам не свой.

При обыкновенной своей сметливости он, конечно, догадался, что Пугачев был им недоволен. Он трусил перед ним, а на меня поглядывал с недоверчивостию. Пугачев осведомился о состоянии крепости, о слухах про неприятельские войска и тому подобном, и вдруг спросил его неожиданно: «Скажи, братец, какую девушку держишь ты у себя под караулом? Покажи-ка мне ее».

Швабрин побледнел как мертвый. — Государь, — сказал он дрожащим голосом… — Государь, она не под караулом… она больна… она в светлице лежит.

«Веди ж меня к ней», — сказал самозванец, вставая с места. Отговориться было невозможно. Швабрин повел Пугачева в светлицу Марьи Ивановны. Я за ними последовал. Швабрин остановился на лестнице. «Государь!» — сказал он. — «Вы властны требовать от меня, что вам угодно; но не прикажите постороннему входить в спальню к жене моей».

Я затрепетал. «Так ты женат!» — сказал я Швабрину, готовяся его растерзать.

«Тише!» — прервал меня Пугачев. — «Это мое дело. А ты»— продолжал он, обращаясь к Швабрину, — «не умничай и не ломайся: жена ли она тебе или не жена, а я веду к ней кого хочу. Ваше благородие, ступай за мною».

У дверей светлицы Швабрин опять остановился и сказал прерывающимся голосом: «Государь предупреждаю вас, что она в белой горячке, и третий день как бредит без умолку». — «Отворяй! — сказал Пугачев.

Швабрин стал искать у себя в карманах, и сказал, что не взял с собою ключа. Пугачев толкнул дверь ногою; замок отскочил; дверь отворилась, и мы вошли.

Я взглянул, и обмер. На полу, в крестьянском оборванном платье сидела Марья Ивановна, бледная, худая, с растрепанными волосами. Перед нею стоял кувшин воды, накрытый ломтем хлеба. Увидя меня, она вздрогнула и закричала. Что тогда со мною стало — не помню.

Пугачев посмотрел на Швабрина, и сказал с горькой усмешкою: «Хорош у тебя лазарет!» — Потом, подошед к Марье Ивановне: — «Скажи мне, голубушка, за что твой муж тебя наказывает? в чем ты перед ним провинилась?»

— Мой муж! — повторила она. — Он мне не муж. Я никогда не буду его женою! Я лучше решилась умереть, и умру, если меня не избавят.

Пугачев взглянул грозно на Швабрина: «И ты смел меня обманывать!» сказал он ему. «Знаешь ли, бездельник, чего ты достоин?»

Швабрин упал на колени… В эту минуту презрение заглушило во мне все чувства ненависти и гнева. С омерзением глядел я на дворянина, валяющегося в ногах беглого казака. Пугачев смягчился. «Милую тебя на сей раз», — сказал он Швабрину; — «но знай, что при первой вине тебе припомнится и эта». Потом обратился он к Марьи Ивановне, и сказал ей ласково: «Выходи, красная девица; дарую тебе волю. Я государь».

Марья Ивановна быстро взглянула на него и догадалась, что перед нею убийца ее родителей. Она закрыла лицо обеими руками и упала без чувств. Я кинулся к ней, но в эту минуту очень смело в комнату втерлась моя старинная знакомая Палаша и стала ухаживать за своею барышнею. Пугачев вышел из светлицы, и мы трое сошли в гостиную.

«Что, ваше благородие?» сказал смеясь Пугачев. «Выручили красную девицу! Как думаешь, не послать ли за попом, да не заставить ли его обвенчать племянницу? Пожалуй, я буду посаженым отцом, Швабрин дружкою; закутим, запьем — и ворота запрем!»

Чего я опасался, то и случилось, Швабрин, услыша предложение Пугачева, вышел из себя. «Государь!» — закричал он в исступлении. — «Я виноват, я вам солгал, но и Гринев вас обманывает. Эта девушка не племянница здешнего попа: она дочь Ивана Миронова, который казнен при взятии здешней крепости».

Пугачев устремил на меня огненные свои глаза. «Это что еще?» — спросил он меня с недоумением.

— Швабрин сказал тебе правду, — отвечал я с твердостию.

«Ты мне этого не сказал» — заметил Пугачев, у коего лицо омрачилось.

— Сам ты рассуди, — отвечал я ему, — можно ли было при твоих людях объявить, что дочь Миронова жива. Да они бы ее загрызли. Ничто ее бы не спасло!

«И то правда» — сказал смеясь Пугачев. — «Мои пьяницы не пощадили бы бедную девушку. Хорошо сделала кумушка-попадья, что обманула их».

— Слушай, — продолжал я, видя его доброе расположение. — Как тебя назвать не знаю, да и знать не хочу… Но бог видит, что жизнию моей рад бы я заплатить тебе за то, что ты для меня сделал. Только не требуй того, что противно чести моей и християнской совести. Ты мой благодетель. Доверши как начал: отпусти меня с бедной сиротою, куда нам бог путь укажет. А мы, где бы ты ни был и что бы с тобою ни случилось, каждый день будем бога молить о спасении грешной твоей души…

Казалось, суровая душа Пугачева была тронута. «Ин быть по-твоему!» — сказал он. — «Казнить так казнить, жаловать так жаловать: таков мой обычай. Возьми себе свою красавицу; вези ее, куда хочешь, и дай вам бог любовь да совет!»

Тут он оборотился к Швабрину и велел выдать мне пропуск во все заставы и крепости, подвластные ему. Швабрин, совсем уничтоженный, стоял как остолбенелый. Пугачев отправился осматривать крепость. Швабрин его сопровождал; а я остался под предлогом приготовлений к отъезду.

Я побежал в светлицу. Двери были заперты. Я постучался. «Кто там?» спросила Палаша. Я назвался. Милый голосок Марьи Ивановны раздался из-за дверей. «Погодите, . Я переодеваюсь. Ступайте к Акулине Памфиловне; я сейчас туда же буду».

Я повиновался и пошел в дом отца Герасима. И он и попадья выбежали ко мне навстречу. Савельич их уже предупредил. «Здравствуйте, Петр Андреич», — говорила попадья. — «Привел бог опять увидеться. Как поживаете? А мы-то про вас каждый день поминали. А Марья-то Ивановна всего натерпелась без вас, моя голубушка!.. Да скажите, мой отец, как это вы с Пугачевым-то поладили? Как он это вас не укокошил? Добро, спасибо злодею и за то». — Полно, старуха, — прервал отец Герасим. — Не все то ври, что знаешь. Несть спасения во многом глаголании. Батюшка Петр Андреич! войдите, милости просим. Давно, давно не видались.

Попадья стала угощать меня чем бог послал. А между тем говорила без умолку. Она рассказала мне, каким образом Швабрин принудил их выдать ему Марью Ивановну; как Марья Ивановна плакала и не хотела с ними расстаться; как Марья Ивановна имела с нею всегдашние сношения через Палашку (девку бойкую, которая и урядника заставляет плясать по своей дудке); как она присоветовала Марьи Ивановне написать ко мне письмо и прочее. Я в свою очередь рассказал ей вкратце свою историю. Поп и попадья крестились, услыша, что Пугачеву известен их обман. «С нами сила крестная!» — говорила Акулина Памфиловна. — «Промчи бог тучу мимо. Ай-да Алексей Иваныч; нечего сказать: хорош гусь!» — В самую эту минуту дверь отворилась, и Марья Ивановна вошла с улыбкою на бледном лице. Она оставила свое крестьянское платье и одета была по-прежнему просто и мило.

Я хватил ее руку и долго не мог вымолвить ни одного слова. Мы оба молчали от полноты сердца. Хозяева наши почувствовали, что нам было не до них, и оставили нас. Мы остались одни. все было забыто. Мы говорили и не могли наговориться. Марья Ивановна рассказала мне все, что с нею ни случилось с самого взятия крепости; описала мне весь ужас ее положения, все испытания, которым подвергал ее гнусный Швабрин. Мы вспомнили и прежнее счастливое время… Оба мы плакали… Наконец я стал объяснять ей мои предположения. Оставаться ей в крепости, подвластной Пугачеву и управляемой Швабриным, было невозможно. Нельзя было думать и об Оренбурге, претерпевающем все бедствия осады. У ней не было на свете ни одного родного человека. Я предложил ей ехать в деревню к моим родителям. Она сначала колебалась: известное ей неблагорасположение отца моего ее пугало. Я ее успокоил. Я знал, что отец почтет за счастие и вменит себе в обязанность принять дочь заслуженного воина, погибшего за отечество. — Милая Марья Ивановна! — сказал я наконец. — Я почитаю тебя своею женою. Чудные обстоятельства соединили нас неразрывно: ничто на свете не может нас разлучить. — Марья Ивановна выслушала меня просто, без притворной застенчивости, без затейливых отговорок. Она чувствовала, что судьба ее соединена была с моею. Но она повторила, что не иначе будет моею женою, как с

согласия моих родителей. Я ей и не противуречил. Мы поцаловались горячо, искренно — и таким образом все было между нами решено.

Через час урядник принес мне пропуск, подписанный каракулками Пугачева, и позвал меня к нему от его имени. Я нашел его готового пуститься в дорогу. Не могу изъяснить то, что я чувствовал, расставаясь с этим ужасным человеком, извергом, злодеем для всех, кроме одного меня. Зачем не сказать истины? В эту минуту сильное сочувствие влекло меня к нему. Я пламенно желал вырвать его из среды злодеев, которыми он предводительствовал, и спасти его голову, пока еще было время. Швабрин и народ, толпящийся около нас, помешали мне высказать все, чем исполнено было мое сердце.

Мы расстались дружески. Пугачев, увидя в толпе Акулину Памфиловну, погрозил пальцем и мигнул значительно; потом сел в кибитку, велел ехать в Берду, и когда лошади тронулись, то он еще раз высунулся из кибитки и закричал мне: «Прощай, ваше благородие! Авось увидимся когда-нибудь». — Мы точно с ним увиделись, но в каких обстоятельствах!..

Пугачев уехал. Я долго смотрел на белую степь, по которой неслась его тройка. Народ разошелся. Швабрин скрылся. Я воротился в дом священника. все было готово к нашему отъезду; я не хотел более медлить. Добро наше все было уложено в старую комендантскую повозку. Ямщики мигом заложили лошадей. Марья Ивановна пошла проститься с могилами своих родителей, похороненных за церковью. Я хотел ее проводить, но она просила меня оставить ее одну. Через несколько минут она воротилась, обливаясь молча тихими слезами. Повозка была подана. Отец Герасим и жена его вышли на крыльцо. Мы сели в кибитку втроем: Марья Ивановна с Палашей и я. Савельич забрался на облучок. «Прощай, Марья Ивановна, моя голубушка! прощайте, Петр Андреич, сокол наш ясный!» — говорила добрая попадья. — «Счастливый путь, и дай бог вам обоим счастия!» Мы поехали. У окошка комендантского дома я увидел стоящего Швабрина. Лицо его изображало мрачную злобу. Я не хотел торжествовать над уничтоженным врагом, и обратил глаза в другую сторону. Наконец мы выехали из крепостных ворот и навек оставили Белогорскую крепость.

ГЛАВА XIII.
АРЕСТ

Не гневайтесь, сударь: по долгу моему
Я должен сей же час отправить вас в тюрьму.
— Извольте, я готов; но я в такой надежде,
Что дело объяснить дозволите мне прежде.

Княжнин.

Соединенный так нечаянно с милой девушкою, о которой еще утром я так мучительно беспокоился, я не верил самому себе и воображал, что все со мною случившееся было пустое сновидение. Марья Ивановна глядела с задумчивостию то на меня, то на дорогу, и, казалось, не успела еще опомниться и придти в себя. Мы молчали. Сердца наши слишком были утомлены. Неприметным образом часа через два очутились мы в ближней крепости, также подвластной Пугачеву. Здесь мы переменили лошадей. По скорости, с каковой их запрягали, по торопливой услужливости брадатого казака, поставленного Пугачевым в коменданты, я увидел, что, благодаря болтливости ямщика, нас привезшего, меня принимали как придворного временщика.

Мы отправились далее. Стало смеркаться. Мы приближились к городку, где, по словам бородатого коменданта, находился сильный отряд, идущий на соединение к самозванцу. Мы были остановлены караульными. На вопрос: кто едет? ямщик отвечал громогласно: «Государев кум со своею хозяюшкою». Вдруг толпа гусаров окружила нас с ужасною бранью. «Выходи, бесов кум!» — сказал мне усастый вахмистр. — «Вот ужо тебе будет баня, и с твоею хозяюшкою!»

Я вышел из кибитки и требовал, чтоб отвели меня к их начальнику. Увидя офицера, солдаты прекратили брань. Вахмистр повел меня к маиору. Савельич от меня не отставал, поговаривая про

себя: «Вот тебе и государев кум! Из огня да в полымя… Господи владыко! чем это все кончится?» Кибитка шагом поехала за нами.

Через пять минут мы пришли к домику, ярко освещенному. Вахмистр оставил меня при карауле и пошел обо мне доложить. Он тотчас же воротился, объявив мне, что его высокоблагородию некогда меня принять, а что он велел отвести меня в острог, а хозяюшку к себе привести.

— Что это значит? — закричал я в бешенстве. — Да разве он с ума сошел?

«Не могу знать, ваше благородие», — отвечал вахмистр. — «Только его высокоблагородие приказал ваше благородие отвести в острог, а ее благородие приказано привести к его высокоблагородию, ваше благородие!»

Я бросился на крыльцо. Караульные не думали меня удерживать, и я прямо вбежал в комнату, где человек шесть гусарских офицеров играли в банк. Маиор метал. Каково было мое изумление, когда, взглянув на него, узнал я Ивана Ивановича Зурина, некогда обыгравшего меня в Симбирском трактире!

— Возможно ли? — вскричал я. — Иван Иваныч! ты ли?

«Ба, ба, ба, Петр Андреич! Какими судьбами? Откуда ты? Здорово, брат. Не хочешь ли поставить карточку?»

— Благодарен. Прикажи-ка лучше отвести мне квартиру. «

«Какую тебе квартиру? Оставайся у меня».

— Не могу: я не один.

«Ну, подавай сюда и товарища».

— Я не с товарищем; я… с дамою.

«С дамою! Где же ты ее подцепил? Эге, брат!» (При сих словах Зурин засвистел так выразительно, что все захохотали, а я совершенно смутился.)

«Ну» — продолжал Зурин: — «так и быть. Будет тебе квартира. А жаль… Мы бы попировали по-старинному… Гей! малой! Да что ж сюда не ведут кумушку-то Пугачева? или она упрямится? Сказать ей, чтоб она не боялась: барин-де прекрасный; ничем не обидит, да хорошенько ее в шею».

— Что ты это? — сказал я Зурину. — Какая кумушка Пугачева? Это дочь покойного капитана Миронова. Я вывез ее из плена и теперь провожаю до деревни батюшкиной, где и оставлю ее.

«Как! Так это о тебе мне сейчас докладывали? Помилуй! что ж это значит?»

— После все расскажу. А теперь, ради бога, успокой бедную девушку, которую гусары твои перепугали.

Зурин тотчас распорядился. Он сам вышел на улицу извиняться перед Марьей Ивановной в невольном недоразумении, и приказал вахмистру отвести ей лучшую квартиру в городе. Я остался ночевать у него.

Мы отужинали, и когда остались вдвоем, я рассказал ему свои похождения. Зурин слушал меня с большим вниманием. Когда я кончил, он покачал головою и сказал: «Все это, брат, хорошо; одно не хорошо; зачем тебя черт несет жениться? Я, честный офицер, не захочу тебя обманывать: поверь же ты мне, что женитьба блажь. Ну, куда тебе возиться с женою да няньчиться с ребятишками? Эй, плюнь. Послушайся меня: развяжись ты с капитанскою дочкой. Дорога в Симбирск мною очищена и безопасна. Отправь ее завтра ж одну к родителям твоим; а сам оставайся у меня в отряде. В Оренбург возвращаться тебе не за чем. Попадешься опять в руки бунтовщикам, так вряд ли от них еще раз отделаешься. Таким образом любовная дурь пройдет сама собою, и все будет ладно».

Хотя я не совсем был с ним согласен, однако ж чувствовал, что долг чести требовал моего присутствия в войске императрицы. Я решился последовать совету Зурина: отправить Марью Ивановну в деревню и остаться в его отряде.

Савельич явился меня раздевать; я объявил ему, чтоб на другой же день готов он был ехать в дорогу с Марьей Ивановной. Он было заупрямился. «Что ты, сударь? Как же я тебя-то покину? Кто за тобою будет ходить? Что скажут родители твои?»

Зная упрямство дядьки моего, я вознамерился убедить его лаской и искренностию. — Друг ты мой, Архип Савельич! — сказал я ему. — Не откажи, будь мне благодетелем; в прислуге здесь я нуждаться не стану, а не буду спокоен, если Марья Ивановна поедет в дорогу без тебя. Служа ей, служишь ты и мне, потому что я твердо решился, как скоро обстоятельства дозволят, жениться на ней.

Тут Савельич сплеснул руками с видом изумления неописанного. «Жениться!» — повторил он. — «Дитя хочет жениться! А что скажет батюшка, а матушка-то, что подумает?»

— Согласятся, верно согласятся, — отвечал я, — когда узнают Марью Ивановну. Я надеюсь и на тебя. Батюшка и матушка тебе верят: ты будешь за нас ходатаем, не так ли?

Старик был тронут. «Ох, батюшка ты мой Петр Андреич!» — отвечал он. — «Хоть раненько задумал ты жениться, да зато Марья Ивановна такая добрая барышня, что грех и пропустить оказию. Ин быть по-твоему! Провожу ее, ангела божия, и рабски буду доносить твоим родителям, что такой невесте не надобно и приданого».

Я благодарил Савельича и лег спать в одной комнате с Зуриным. Разгоряченный и взволнованный, я разболтался. Зурин сначала со мною разговаривал охотно; но мало-по-малу слова его стали реже и бессвязнее; наконец, вместо ответа на какой-то запрос, он захрапел и присвистнул. Я замолчал и вскоре последовал его примеру.

На другой день утром пришел я к Марье Ивановне. Я сообщил ей свои предположения. Она признала их благоразумие и тотчас со мною согласилась. Отряд Зурина должен был выступить из города в тот же день. Нечего было медлить. Я тут же расстался с Марьей Ивановной, поручив ее Савельичу и дав ей письмо к моим родителям. Марья Ивановна заплакала. «Прощайте, Петр Андреич!» — сказала она тихим голосом. — «Придется ли нам увидаться или нет, бог один это знает; но век не забуду вас; до могилы ты один останешься в моем сердце». Я ничего не мог отвечать. Люди нас, окружали. Я не хотел при них предаваться чувствам, которые меня волновали. Наконец она уехала. Я возвратился к Зурину, грустен и молчалив. Он хотел меня развеселить; я думал себя рассеять: мы провели день шумно и буйно, и вечером выступили в поход.

Это было в конце февраля. Зима, затруднявшая военные распоряжения, проходила, и наши генералы готовились к дружному содействию. Пугачев все еще стоял под Оренбургом. Между тем около его отряды соединялись и со всех сторон приближались к злодейскому гнезду. Бунтующие деревни, при виде наших войск, приходили в повиновение; шайки разбойников везде бежали от нас, и все предвещало скорое и благополучное окончание.

Вскоре князь Голицын, под крепостию Татищевой, разбил Пугачева, рассеял его толпы, освободил Оренбург, и, казалось, нанес бунту последний и решительный удар. Зурин был в то время отряжен противу шайки мятежных башкирцев, которые рассеялись прежде нежели мы их увидали. Весна осадила нас в татарской деревушке. Речки разлились, и дороги стали непроходимы. Мы утешались в нашем бездействии мыслию о скором прекращении скучной и мелочной войны с разбойниками и дикарями.

Но Пугачев не был пойман. Он явился на Сибирских заводах, собрал там новые шайки и опять начал злодействовать. Слух о его успехах снова распространился. Мы узнали о разорении Сибирских крепостей. Вскоре весть о взятии Казани и о походе самозванца на Москву встревожила начальников войск, беспечно дремавших в надежде на бессилие презренного бунтовщика. Зурин получил повеление переправиться через Волгу.[9]

Не стану описывать нашего похода и окончания войны. Скажу коротко, что бедствие доходило до крайности. Мы проходили через селения разоренные бунтовщиками и поневоле отбирали у бедных жителей то, что успели они спасти. Правление было повсюду прекращено: помещики укрывались по лесам. Шайки разбойников злодействовали повсюду; начальники отдельных отрядов самовластно наказывали и миловали; состояние всего обширного края, где свирепствовал пожар, было ужасно… Не приведи бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!

Пугачев бежал, преследуемый Иваном Ивановичем Михельсоном. Вскоре узнали мы о совершенном его разбитии. Наконец Зурин получил известие о поимке самозванца, а вместе с тем и повеление остановиться. Война была кончена. Наконец мне можно было ехать к моим

родителям! Мысль их обнять, увидеть Марью Ивановну, от которой не имел я никакого известия, одушевляла меня восторгом. Я прыгал как ребенок. Зурин смеялся и говорил, пожимая плечами: «Нет, тебе не сдобровать! Женишься — ни за что пропадешь!»

Но между тем странное чувство отравляло мою радость: мысль о злодее, обрызганном кровию стольких невинных жертв, и о казни, его ожидающей, тревожила меня поневоле: Емеля, Емеля! — думал я с досадою; — зачем не наткнулся ты на штык, или не подвернулся под картечь? Лучше ничего не мог бы ты придумать. Что прикажете делать? Мысль о нем неразлучна была во мне с мыслию о пощаде, данной мне им в одну из ужасных минут его жизни, и об избавлении моей невесты из рук гнусного Швабрина.

Зурин дал мне отпуск. Через несколько дней должен я был опять очутиться посреди моего семейства, увидеть опять мою Марью Ивановну… Вдруг неожиданная гроза меня поразила. В день, назначенный для выезда, в самую ту минуту, когда готовился я пуститься в дорогу, Зурин вошел ко мне в избу, держа в руках бумагу, с видом чрезвычайно озабоченным. Что-то кольнуло меня в сердце. Я испугался, сам не зная чего. Он выслал моего деньщика, и объявил, что имеет до меня дело. — Что такое? — спросил я с беспокойством. — «Маленькая неприятность», — отвечал он, подавая мне бумагу. — «Прочитай, что сейчас я получил». Я стал ее читать: это был секретный приказ ко всем отдельным начальникам арестовать меня, где бы ни попался, и немедленно отправить под караулом в Казань в Следственную Комиссию, учрежденную по делу Пугачева.

Бумага чуть не выпала из моих рук. «Делать нечего!» — сказал Зурин. — «Долг мой повиноваться приказу. Вероятно, слух о твоих дружеских путешествиях с Пугачевым как-нибудь да дошел до правительства. Надеюсь, что дело не будет иметь никаких последствий и что ты оправдаешься перед комиссией. Не унывай и отправляйся». Совесть моя была чиста; я суда не боялся; но мысль отсрочить минуту сладкого свидания, может быть, на несколько еще месяцев — устрашала меня. Тележка была готова. Зурин дружески со мною простился. Меня посадили в тележку. Со мною сели два гусара с саблями наголо, и я поехал по большой дороге.

ГЛАВА XIV.
СУД

Мирская молва —
Морская волна.

Пословица.

Я был уверен, что виною всему было самовольное мое отсутствие из Оренбурга. Я легко мог оправдаться: наездничество не только никогда не было запрещено, но еще всеми силами было ободряемо. Я мог быть обвинен в излишней запальчивости, а не в ослушании. Но приятельские сношения мои с Пугачевым могли быть доказаны множеством свидетелей и должны были казаться по крайней мере весьма подозрительными. Во всю дорогу размышлял я о допросах, меня ожидающих, обдумывал свои ответы, и решился перед судом объявить сущую правду, полагая сей способ оправдания самым простым, а вместе и самым надежным.

Я приехал в Казань, опустошенную и погорелую. По улицам, наместо домов, лежали груды углей и торчали закоптелые стены без крыш и окон. Таков был след, оставленный Пугачевым! Меня привезли в крепость, уцелевшую посереди сгоревшего города. Гусары сдали меня караульному офицеру. Он велел кликнуть кузнеца. Надели мне на ноги цепь и заковали ее наглухо. Потом отвели меня в тюрьму и оставили одного в тесной и темной канурке, с одними голыми стенами и с окошечком, загороженым железною решеткою.

Таковое начало не предвещало мне ничего доброго. Однако ж я не терял ни бодрости, ни надежды. Я прибегнул к утешению всех скорбящих и, впервые вкусив сладость молитвы, излиянной из чистого, но растерзанного сердца, спокойно заснул, не заботясь о том, что со мною будет.

На другой день тюремный сторож меня разбудил, с объявлением, что меня требуют в комиссию. Два солдата повели меня через двор в комендантской дом, остановились в передней и впустили одного во внутренние комнаты.

Я вошел в залу довольно обширную. За столом, покрытым бумагами, сидели два человека: пожилой генерал, виду строгого и холодного, и молодой гвардейский капитан, лет двадцати осьми, очень приятной наружности, ловкий и свободный в обращении. У окошка за особым столом сидел секретарь с пером за ухом, наклонясь над бумагою, готовый записывать мои показания. Начался допрос. Меня спросили о моем имени и звании. Генерал осведомился, не сын ли я Андрея Петровича Гринева? И на ответ мой возразил сурово: «Жаль, что такой почтенный человек имеет такого недостойного сына!» Я спокойно отвечал, что каковы бы ни были обвинения, тяготеющие на мне, я надеюсь их рассеять чистосердечным объяснением истины. Уверенность моя ему не понравилась. «Ты, брат, востер», — сказал он мне нахмурясь; — «но видали мы и не таких!»

Тогда молодой человек спросил меня: по какому случаю и в какое время вошел я в службу к Пугачеву и по каким поручениям был я им употреблен?

Я отвечал с негодованием, что я, как офицер и дворянин, ни в какую службу к Пугачеву вступать и никаких поручений от него принять не мог.

«Каким же образом», возразил мой допросчик, дворянин и офицер один пощажен самозванцем, между тем как все его товарищи злодейски умерщвлены? Каким образом этот самый офицер и дворянин дружески пирует с бунтовщиками, принимает от главного злодея подарки, шубу, лошадь и полтину денег? Отчего произошла такая странная дружба и на чем она основана, если не на измене, или по крайней мере на гнусном и преступном малодушии?»

Я был глубоко оскорблен словами гвардейского офицера, и с жаром начал свое оправдание. Я рассказал, как началось мое знакомство с Пугачевым в степи, во время бурана как при взятии Белогорской крепости он меня узнал и пощадил. Я сказал, что тулуп и лошадь, правда, не посовестился я принять от самозванца; но что Белогорскую крепость защищал я противу злодея до последней крайности. Наконец я сослался и на моего генерала, который мог засвидетельствовать мое усердие во время бедственной оренбургской осады.

Строгий старик взял со стола открытое письмо и стал читать его вслух:

– «На запрос вашего превосходительства косательно прапорщика Гринева, якобы замешанного в нынешнем смятении, и вошедшего в сношения с злодеем, службою недозволенные и долгу присяги противные, объяснить имею честь: оный прапорщик Гринев находился на службе в Оренбурге от начала октября прошлого 1773 года до 24 февраля нынешнего года, в которое число он из города отлучился, и с той поры уже в команду мою не являлся. А слышно от перебежчиков, что он был у Пугачева в слободе и с ним вместе ездил в Белогорскую крепость, в коей прежде находился он на службе; что касается до его поведения, то я могу…» Тут он прервал свое чтение, и сказал мне сурово: «Что ты теперь скажешь себе в оправдание?»

Я хотел было продолжать, как начал, и объяснить мою связь с Марьей Ивановной так же искренно, как и все прочее. Но вдруг почувствовал непреодолимое отвращение. Мне пришло в голову, что если назову ее, то комиссия потребует ее к ответу; и мысль впутать имя ее между гнусными изветами злодеев, и ее самую привести на очную с ними ставку — эта ужасная мысль так меня поразила, что я замялся и спутался.

Судьи мои, начинавшие, казалось, выслушивать ответы мои с некоторою благосклонностию, были снова предубеждены противу меня при виде моего смущения. Гвардейский офицер потребовал, чтоб меня поставили на очную ставку с главным доносителем. Генерал велел кликнуть вчерашнего злодея. Я с живостию обратился к дверям, ожидая появления своего обвинителя. Через несколько минут загремели цепи, двери отворились, и вошел — Швабрин. Я изумился его перемене. Он был ужасно худ и бледен. Волоса его, недавно черные как смоль, совершенно поседели длинная борода была всклокочена. Он повторил обвинения свои слабым, но смелым голосом. По его словам, я отряжен был от Пугачева в Оренбург шпионом; ежедневно выезжал на перестрелки, дабы передавать письменные известия о всем, что делалось в городе; что наконец явно передался самозванцу, разъезжал с ним из крепости в крепость, стараясь всячески губить своих товарищей-изменников, дабы занимать их места и пользоваться наградами, раздаваемыми от самозванца. — Я выслушал его молча и был доволен одним: имя Марьи Ивановны не было

произнесено гнусным злодеем, оттого ли, что самолюбие его страдало при мысли о той, которая отвергла его с презрением; оттого ли, что в сердце его таилась искра того же чувства, которое и меня заставляло молчать, — как бы то ни было, имя дочери Белогорского коменданта не было произнесено в присутствии комиссии. Я утвердился еще более в моем намерении, и когда судьи спросили: чем могу опровергнуть показания Швабрина, я отвечал, что держусь первого своего объяснения и ничего другого в оправдание себе сказать не могу. Генерал велел нас вывести. Мы вышли вместе. Я спокойно взглянул на Швабрина, но не сказал ему ни слова. Он усмехнулся злобной усмешкою и, приподняв свои цепи, опередил меня и ускорил свои шаги. Меня опять отвели в тюрьму и с тех пор уже к допросу не требовали.

Я не был свидетелем всему, о чем остается мне уведомить читателя; но я так часто слыхал о том рассказы, что малейшие по. дробности врезались в мою память и что мне кажется, будто бы я тут же невидимо присутствовал.

Марья Ивановна принята была моими родителями с тем искренним радушием, которое отличало людей старого века. Они видели благодать божию в том, что имели случай приютить и обласкать бедную сироту. Вскоре они к ней искренно привязались, потому что нельзя было ее узнать и не полюбить. Моя любовь уже не казалась батюшке пустою блажью; а матушка только того и желала, чтоб ее Петруша женился на милой капитанской дочке.

Слух о моем аресте поразил все мое семейство. Марья Ивановна так просто рассказала моим родителям о странном знакомстве моем с Пугачевым, что оно не только не беспокоило их, но еще заставляло часто смеяться от чистого сердца. Батюшка не хотел верить, чтобы я мог быть замешан в гнусном бунте, коего цель была ниспровержение престола и истребление дворянского рода. Он строго допросил Савельича. Дядька не утаил, что барин бывал в гостях у Емельки Пугачева, и что-де злодей его таки жаловал; но клялся, что ни о какой измене он и не слыхивал. Старики успокоились и с нетерпением стали ждать благоприятных вестей. Марья Ивановна сильно была встревожена, но молчала, ибо в высшей степени была одарена скромностию и осторожностию.

Прошло несколько недель… Вдруг батюшка получает из Петербурга письмо от нашего родственника князя Б**. Князь писал ему обо мне. После обыкновенного приступа, он объявлял ему, что подозрения насчет участия моего в замыслах бунтовщиков к несчастию оказались слишком основательными, что примерная казнь должна была бы меня постигнуть, но что государыня, из уважения к заслугам и преклонным летам отца, решилась помиловать преступного сына и, избавляя его от позорной казни, повелела только сослать в отдаленный край Сибири на вечное поселение.

Сей неожиданный удар едва не убил отца моего. Он лишился обыкновенной своей твердости, и горесть его (обыкновенно немая) изливалась в горьких жалобах. «Как!» — повторял он, выходя из себя. — «Сын мой участвовал в замыслах Пугачева! Боже праведный, до чего я дожил! Государыня избавляет его от казни! От этого разве мне легче? Не казнь страшна: пращур мой умер на лобном месте, отстаивая то, что почитал святынею своей совести; отец мой пострадал вместе с Волынским и Хрущевым. Но дворянину изменить своей присяге, соединиться с разбойниками, с убийцами, с беглыми холопьями!.. Стыд и срам нашему роду!..» Испуганная его отчаянием матушка не смела при нем плакать и старалась возвратить ему бодрость, говоря о неверности молвы, о шаткости людского мнения. Отец мой был неутешен.

Марья Ивановна мучилась более всех. Будучи уверена, что я мог оправдаться, когда бы только захотел, она догадывалась об истине и почитала себя виновницею моего несчастия. Она скрывала от всех свои слезы и страдания, и между тем непрестанно думала о средствах, как бы меня спасти.

Однажды вечером батюшка сидел на диване, перевертывая листы Придворного Календаря; но мысли его были далеко, и чтение не производило над ним обыкновенного своего действия. Он насвистывал старинный марш. Матушка молча вязала шерстяную фуфайку и слезы изредко капали на ее работу. Вдруг Марья Ивановна, Тут же сидевшая за работой, объявила, что необходимость ее заставляет ехать в Петербург, и что она просит дать ей способ отправиться. Матушка очень огорчилась. «Зачем тебе в Петербург?» — сказала она. — «Неужто, Марья Ивановна, хочешь и ты нас покинуть?» Марья Ивановна отвечала, что вся будущая судьба ее зависит от этого

путешествия, что она едет искать покровительства и помощи у сильных людей, как дочь человека, пострадавшего за свою верность.

Отец мой потупил голову: всякое слово, напоминающее мнимое преступление сына, было ему тягостно и казалось колким упреком. «Поезжай, матушка!» — сказал он ей со вздохом. — «Мы твоему счастию помехи сделать не хотим. Дай бог тебе в женихи доброго человека, не ошельмованного изменника». Он встал и вышел из комнаты.

Марья Ивановна, оставшись наедине с матушкою, отчасти объяснила ей свои предположения. Матушка со слезами обняла ее и молила бога о благополучном конце замышленного дела. Марью Ивановну снарядили, и через несколько дней она отправилась в дорогу с верной Палашей и с верным Савельичем, который, насильственно разлученный со мною, утешался по крайней мере мыслию, что служит нареченной моей невесте.

Марья Ивановна благополучно прибыла в Софию и, узнав на почтовом дворе, что Двор находился в то время в Царском Селе, решилась тут остановиться. Ей отвели уголок за перегородкой. Жена смотрителя тотчас с нею разговорилась, объявила, что она племянница придворного истопника, и посвятила ее во все таинства придворной жизни. Она рассказала, в котором часу государыня обыкновенно просыпалась, кушала кофей, прогуливалась; какие вельможи находились в то время при ней; что изволила она вчерашний день говорить у себя за столом, кого принимала вечером, — словом, разговор Анны Власьевны стоил нескольких страниц исторических записок и был бы драгоценен для потомства. Марья Ивановна слушала ее со вниманием. Они пошли в сад. Анна Власьевна рассказала историю каждой аллеи и каждого мостика, и, нагулявшись, они возвратились на станцию очень довольные друг другом.

На другой день рано утром Марья Ивановна проснулась, оделась и тихонько пошла в сад. Утро было прекрасное, солнце освещало вершины лип, пожелтевших уже под свежим дыханием осени. Широкое озеро сияло неподвижно. Проснувшиеся лебеди важно выплывали из-под кустов, осеняющих берег. Марья Ивановна пошла около прекрасного луга, где только что поставлен был памятник в честь недавних побед графа Петра Александровича Румянцева. Вдруг белая собачка английской породы залаяла и побежала ей навстречу Марья Ивановна испугалась и остановилась. В эту самую минуту раздался приятный женский голос: «Не бойтесь, она не укусит». И Марья Ивановна увидела даму, сидевшую на скамейке противу памятника. Марья Ивановна села на другом конце скамейки. Дама пристально на нее смотрела; а Марья Ивановна, со своей стороны бросив несколько косвенных взглядов, успела рассмотреть ее с ног до головы. Она была в белом утреннем платье, в ночном чепце и в душегрейке. Ей казалось лет сорок. Лицо ее, полное и румяное, выражало важность и спокойствие, а голубые глаза и легкая улыбка имели прелесть неизъяснимую. Дама первая перервала молчание.

«Вы верно не здешние?» — сказала она.

— Точно так-с: я вчера только приехала из провинции. «

«Вы приехали с вашими родными?»

— Никак нет-с. Я приехала одна. «

«Одна! Но вы так еще молоды».

— У меня нет ни отца, ни матери. «

«Вы здесь конечно по каким-нибудь делам?»

— Точно так-с. Я приехала подать просьбу государыне.

«Вы сирота: вероятно, вы жалуетесь на несправедливость и обиду?»

— Никак нет-с. Я приехала просить милости, а не правосудия.

«Позвольте спросить, кто вы таковы?»

— Я дочь капитана Миронова.

«Капитана Миронова! того самого, что был комендантом в одной из оренбургских крепостей?»

— Точно так-с.

Дама, казалось, была тронута. «Извините меня» — сказала она голосом еще более ласковым, — «если я вмешиваюсь в ваши дела; но я бываю при дворе; изъясните мне, в чем состоит ваша просьба, и, может быть, мне удастся вам помочь».

Марья Ивановна встала и почтительно ее благодарила. все в неизвестной даме невольно привлекало сердце и внушало доверенность. Марья Ивановна вынула из кармана сложенную бумагу и подала ее незнакомой своей покровительнице, которая стала читать ее про себя. Сначала она читала с видом внимательным и благосклонным; но вдруг лицо ее переменилось, — и Марья Ивановна, следовавшая глазами за всеми ее движениями, испугалась строгому выражению этого лица, за минуту столь приятному и спокойному.

«Вы просите за Гринева?» — сказала дама с холодным видом. — «Императрица не может его простить. Он пристал к самозванцу не из невежества и легковерия, но как безнравственный и вредный негодяй».

— Ах, неправда! — вскрикнула Марья Ивановна.

«Как неправда!» — возразила дама, вся вспыхнув.

— Неправда, ей богу, неправда! Я знаю все, я все вам расскажу. Он для одной меня подвергался всему, что постигло его. И если он не оправдался перед судом, то разве потому только, что не хотел запутать меня. — Тут она с жаром рассказала все, что уже известно моему читателю.

Дама выслушала ее со вниманием. — «Где вы остановились?» спросила она потом; и услыша, что у Анны Власьевны, примолвила с улыбкою: «А! знаю. Прощайте, не говорите никому о нашей встрече. Я надеюсь, что вы недолго будете ждать ответа на ваше письмо».

С этим словом она встала и вошла в крытую аллею, а. Марья Ивановна возвратилась к Анне Власьевне, исполненная радостной надежды.

Хозяйка побранила ее за раннюю осеннюю прогулку, вредную, по ее словам, для здоровья молодой девушки. Она принесла самовар, и за чашкою чая только было принялась за бесконечные рассказы о дворе, как вдруг придворная карета остановилась у крыльца, и камер-лакей вошел с объявлением, что государыня изволит к себе приглашать девицу Миронову. Анна Власьевна изумилась и расхлопоталась. «Ахти, господи!» — закричала она. — «Государыня требует вас ко двору. Как же это она про вас узнала? Да как же вы, матушка, представитесь к императрице? Вы, я чай, и ступить по придворному не умеете… Не проводить ли мне вас? все-таки я вас хоть в чем-нибудь да могу предостеречь. И как же вам ехать в дорожном платье? Не послать ли к повивальной бабушке за ее желтым роброном?» — Камер-лакей объявил, что государыне угодно было, чтоб Марья Ивановна ехала одна, и в том, в чем ее застанут. Делать было нечего: Марья Ивановна села в карету и поехала во дворец, сопровождаемая советами и благословениями Анны Власьевны.

Марья Ивановна предчувствовала решение нашей судьбы; сердце ее сильно билось и замирало. Чрез несколько минут карета остановилась у дворца. Марья Ивановна с трепетом пошла по лестнице. Двери перед нею отворились настежь. Она прошла длинный ряд пустых, великолепных комнат; камер-лакей указывал дорогу. Наконец, подошел к запертым дверям, он объявил, что сейчас об ней доложит, и оставил ее одну.

Мысль увидеть императрицу лицом к лицу так устрашала ее, что она с трудом могла держаться на ногах. Через минуту двери отворились, и она вошла в уборную государыни. Императрица сидела за своим туалетом. Несколько придворных окружали ее, и почтительно пропустили Марью Ивановну. Государыня ласково к ней обратилась, и Марья Ивановна узнала в ней ту даму, с которой так откровенно изъяснялась она несколько минут тому назад. Государыня подозвала ее и сказала с улыбкою: «Я рада, что могла сдержать вам свое слово и исполнить вашу просьбу. Дело ваше кончено. Я убеждена в невинности вашего жениха. Вот письмо, которое сами потрудитесь отвезти к будущему свекру».

Марья Ивановна приняла письмо дрожащею рукою и, заплакав, упала к ногам императрицы, которая подняла ее и поцаловала. Государыня разговорилась с нею. «Знаю, что вы не богаты» — сказала она; — «но я в долгу перед дочерью капитана Миронова. Не беспокойтесь о будущем. Я беру на себя устроить ваше состояние».

Обласкав бедную сироту, государыня ее отпустила. Марья Ивановна уехала в той же придворной карете. Анна Власьевна, нетерпеливо ожидавшая ее возвращения, осыпала ее вопросами, на которые Марья Ивановна отвечала кое-как. Анна Власьевна хотя и была недовольна ее беспамятством, но приписала оное провинциальной застенчивости и извинила великодушно. В тот же день Марья Ивановна, не полюбопытствовав взглянуть на Петербург, обратно поехала в деревню…

Здесь прекращаются записки Петра Андреевича Гринева. Из семейственных преданий известно, что он был освобожден от заключения в конце 1774 года, по именному повелению; что он присутствовал при казни Пугачева, который узнал его в толпе и кивнул ему головою, которая через минуту, мертвая и окровавленная, показана была народу. Вскоре потом Петр Андреевич женился на Марье Ивановне. Потомство их благоденствует в Симбирской губернии. — В тридцати верстах от *** находится село, принадлежащее десятерым помещикам. — В одном из барских флигелей показывают собственноручное письмо Екатерины II за стеклом и в рамке. Оно писано к отцу Петра Андреевича и содержит оправдание его сына и похвалы уму и сердцу дочери капитана Миронова. Рукопись Петра Андреевича Гринева доставлена была нам от одного из его внуков, который узнал, что мы заняты были трудом, относящимся ко временам, описанным его дедом. Мы решились, с разрешения родственников, издать ее особо, приискав к каждой главе приличный эпиграф и дозволив себе переменить некоторые собственные имена.

Издатель.

19 окт. 1836.

“К Чаадаеву”

Любви, надежды, тихой славы
Недолго нежил нас обман,
Исчезли юные забавы,
Как сон, как утренний туман;
Но в нас горит еще желанье,
Под гнетом власти роковой
Нетерпеливою душой
Отчизны внемлем призыванье.
Мы ждем с томленьем упованья
Минуты вольности святой,
Как ждет любовник молодой
Минуты верного свиданья.
Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!
Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена.

(1818)

“К*” (“Я помню чудное мгновенье…”)**

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.

В томленьях грусти безнадежной,
В тревогах шумной суеты,
Звучал мне долго голос нежный
И снились милые черты.

Шли годы. Бурь порыв мятежный
Рассеял прежние мечты,
И я забыл твой голос нежный,
Твои небесные черты.

В глуши, во мраке заточенья
Тянулись тихо дни мои
Без божества, без вдохновенья,
Без слез, без жизни, без любви.

Душе настало пробужденье:
И вот опять явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.

И сердце бьется в упоенье,
И для него воскресли вновь
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слезы, и любовь.

(1825)

АЛЕКСАНДР ТРИФОНОВИЧ ТВАРДОВСКИЙ

“Василий Тёркин”
Книга про бойца

ОТ АВТОРА

На войне, в пыли походной,
В летний зной и в холода,
Лучше нет простой, природной –
Из колодца, из пруда,
Из трубы водопроводной,
Из копытного следа,
Из реки, какой угодно,
Из ручья, из-подо льда, –
Лучше нет воды холодной,
Лишь вода была б – вода.
На войне, в быту суровом,
В трудной жизни боевой,
На снегу, под хвойным кровом,
На стоянке полевой, –
Лучше нет простой, здоровой,
Доброй пищи фронтовой.
Важно только, чтобы повар
Был бы повар – парень свой;
Чтобы числился недаром,
Чтоб подчас не спал ночей, –
Лишь была б она с наваром
Да была бы с пылу, с жару –
Подобрей, погорячей;
Чтоб идти в любую драку,
Силу чувствуя в плечах,
Бодрость чувствуя.
Однако дело тут не только в щах.
Жить без пищи можно сутки,
Можно больше, но порой
На войне одной минутки
Не прожить без прибаутки,
Шутки самой немудрой.
Не прожить, как без махорки,
От бомбёжки до другой
Без хорошей поговорки
Или присказки какой, –
Без тебя, Василий Тёркин,
Вася Тёркин – мой герой,
А всего иного пуще

Не прожить наверняка –
Без чего? Без правды сущей,
Правды, прямо в душу бьющей,
Да была б она погуще,
Как бы ни была горька.
Что ж ещё?.. И всё, пожалуй.
Словом, книга про бойца
Без начала, без конца.
Почему так – без начала?
Потому, что сроку мало
Начинать её сначала.
Почему же без конца?
Просто жалко молодца.
С первых дней годины горькой,
В тяжкий час земли родной
Не шутя, Василий Тёркин,
Подружились мы с тобой,
Я забыть того не вправе,
Чем твоей обязан славе,
Чем и где помог ты мне.
Делу время, час забаве,
Дорог Тёркин на войне.
Как же вдруг тебя покину?
Старой дружбы верен счёт.
Словом, книгу с середины
И начнём. А там пойдёт.

О НАГРАДЕ

– Нет, ребята, я не гордый.
Не загадывая вдаль,
Так скажу: зачем мне орден?
Я согласен на медаль.
На медаль. И то не к спеху.
Вот закончили б войну,
Вот бы в отпуск я приехал
На родную сторону.
Буду ль жив ещё? – Едва ли.
Тут воюй, а не гадай.
Но скажу насчёт медали:
Мне её тогда подай.
Обеспечь, раз я достоин.
И понять вы все должны:
Дело самое простое –
Человек пришёл с войны.
Вот пришёл я с полустанка
В свой родимый сельсовет.
Я пришёл, а тут гулянка.
Нет гулянки? Ладно, нет.

Я в другой колхоз и в третий –
Вся округа на виду.
Где-нибудь я в сельсовете
На гулянку попаду.
И, явившись на вечёрку,
Хоть не гордый человек,
Я б не стал курить махорку,
А достал бы я «Казбек».
И сидел бы я, ребята,
Там как раз, друзья мои,
Где мальцом под лавку прятал
Ноги босые свои.
И дымил бы папиросой,
Угощал бы всех вокруг.
И на всякие вопросы
Отвечал бы я не вдруг.
– Как, мол, что? – Бывало всяко.
– Трудно всё же? – Как когда.
– Много раз ходил в атаку?
– Да, случалось иногда.
И девчонки на вечёрке
Позабыли б всех ребят,
Только слушали б девчонки,
Как ремни на мне скрипят.
И шутил бы я со всеми,
И была б меж них одна...
И медаль на это время
Мне, друзья, вот так нужна!
Ждёт девчонка, хоть не мучай,
Слова, взгляда твоего...
– Но, позволь, на этот случай
Орден тоже ничего?
Вот сидишь ты на вечёрке,
И девчонка – самый цвет.
– Нет, – сказал Василий Тёркин
И вздохнул. И снова: – Нет.
Нет, ребята. Что там орден.
Не загадывая вдаль,
Я ж сказал, что я не гордый,
Я согласен на медаль.
Тёркин, Тёркин, добрый малый,
Что тут смех, а что печаль.
Загадал ты, друг, немало,
Загадал далёко вдаль.
Были листья, стали почки,
Почки стали вновь листвой.
А не носит писем почта
В край родной смоленский твой.
Где девчонки, где вечёрки?
Где родимый сельсовет?
Знаешь сам, Василий Тёркин,

Что туда дороги нет.
Нет дороги, нету права
Побывать в родном селе.
Страшный бой идёт, кровавый,
Смертный бой не ради славы,
Ради жизни на земле.

ПЕРЕПРАВА

Переправа, переправа!
Берег левый, берег правый,
Снег шершавый, кромка льда.,
Кому память, кому слава,
Кому темная вода, -
Ни приметы, ни следа.

Ночью, первым из колонны,
Обломав у края лед,
Погрузился на понтоны2.
Первый взвод.
Погрузился, оттолкнулся
И пошел. Второй за ним.
Приготовился, пригнулся
Третий следом за вторым.

Как плоты, пошли понтоны,
Громыхнул один, другой
Басовым, железным тоном,
Точно крыша под ногой.

И плывут бойцы куда-то,
Притаив штыки в тени.
И совсем свои ребята
Сразу - будто не они,
Сразу будто не похожи
На своих, на тех ребят:

Как-то все дружней и строже,
Как-то все тебе дороже
И родней, чем час назад.

Поглядеть - и впрямь - ребята!
Как, по правде, желторот,
Холостой ли он, женатый,
Этот стриженый народ.

Но уже идут ребята,
На войне живут бойцы,
Как когда-нибудь в двадцатом

Их товарищи - отцы.

Тем путем идут суровым,
Что и двести лет назад
Проходил с ружьем кремневым
Русский труженик-солдат.

Мимо их висков вихрастых,
Возле их мальчишьих глаз
Смерть в бою свистела часто
И минет ли в этот раз?

Налегли, гребут, потея,
Управляются с шестом.
А вода ревет правее
Под подорванным мостом.

Вот уже на середине
Их относит и кружит...

А вода ревет в теснине,
Жухлый лед в куски крошит,
Меж погнутых балок фермы
Бьется в пене и в пыли...

А уж первый взвод, наверно,
Достает шестом земли.

Позади шумит протока,
И кругом - чужая ночь.
И уже он так далеко,
Что ни крикнуть, ни помочь.

И чернеет там зубчатый,
За холодною чертой,
Неподступный, непочатый
Лес над черною водой.

Переправа, переправа!
Берег правый, как стена...

Этой ночи след кровавый
В море вынесла волна

Было так: из тьмы глубокой,
Огненный взметнув клинок,
Луч прожектора протоку
Пересек наискосок.

И столбом поставил воду
Вдруг снаряд.

Понтоны - в ряд.
Густо было там народу -
Наших стриженых ребят...

И увиделось впервые,
Не забудется оно:
Люди теплые, живые
Шли на дно, на дно, на дно..

Под огнем неразбериха -
Где свои, где кто, где связь?

Только вскоре стало тихо, -
Переправа сорвалась.
И покамест неизвестно,
Кто там робкий, кто герой,
Кто там парень расчудесный,
А наверно, был такой.

Переправа, переправа...
Темень, холод. Ночь как год.

Но вцепился в берег правый,
Там остался первый взвод.

И о нем молчат ребята
В боевом родном кругу,
Словно чем-то виноваты,
Кто на левом берегу.

Не видать конца ночлегу.
За ночь грудою взялась
Пополам со льдом и снегом
Перемешанная грязь.

И усталая с похода,
Что б там ни было, - жива,
Дремлет, скорчившись, пехота,
Сунув руки в рукава.

Дремлет, скорчившись, пехота,
И в лесу, в ночи глухой
Сапогами пахнет, потом,
Мерзлой хвоей и махрой.

Чутко дышит берег этот
Вместе с теми, что на том
Под обрывом ждут рассвета,
Греют землю животом, -
Ждут рассвета, ждут подмоги,
Духом падать не хотят.

Ночь проходит, нет дороги
Ни вперед и ни назад...

А быть может, там с полночи
Порошит снежок им в очи,
И уже давно
Он не тает в их глазницах
И пыльцой лежит на лицах -
Мертвым все равно.

Стужи, холода не слышат,
Смерть за смертью не страшна,
Хоть еще паек им пишет
Первой роты старшина,

Старшина паек им пишет,
А по почте полевой
Не быстрей идут, не тише
Письма старые домой,
Что еще ребята сами
На привале при огне
Где-нибудь в лесу писали
Друг у друга на спине...

Из Рязани, из Казани,
Из Сибири, из Москвы -
Спят бойцы.
Свое сказали
И уже навек правы.

И тверда, как камень, груда,
Где застыли их следы...

Может - так, а может - чудо?
Хоть бы знак какой оттуда,
И беда б за полбеды.
Долги ночи, жестки зори
В ноябре - к зиме седой.

Два бойца сидят в дозоре
Над холодною водой.
То ли снится, то ли мнится,
Показалось что невесть,
То ли иней на ресницах,
То ли вправду что-то есть?

Видят - маленькая точка
Показалась вдалеке:
То ли чурка, то ли бочка
Проплывает по реке?

- Нет, не чурка и не бочка -
Просто глазу маята.
- Не пловец ли одиночка?
- Шутишь, брат. Вода не та!
- Да, вода... Помыслить страшно.
Даже рыбам холодна.
- Не из наших ли вчерашних
Поднялся какой со дна?..

Оба разом присмирели.
И сказал один боец:
- Нет, он выплыл бы в шинели,
С полной выкладкой, мертвец.

Оба здорово продрогли,
Как бы ни было, - впервой.

Подошел сержант с биноклем.
Присмотрелся: нет, живой.

- Нет, живой. Без гимнастерки.
- А не фриц? Не к нам ли в тыл?
- Нет. А может, это Теркин? -
Кто-то робко пошутил.

- Стой, ребята, не соваться,
Толку нет спускать понтон.
- Разрешите попытаться?
- Что пытаться!
- Братцы, - он!

И, у заберегов корку
Ледяную обломав,
Он как он, Василий Теркин,
Встал живой, - добрался вплавь.

Гладкий, голый, как из бани,
Встал, шатаясь тяжело.
Ни зубами, ни губами
Не работает - свело.

Подхватили, обвязали,
Дали валенки с ноги.
Пригрозили, приказали -
Можешь, нет ли, а беги.

Под горой, в штабной избушке,
Парня тотчас на кровать
Положили для просушки,
Стали спиртом растирать.

Растирали, растирали...
Вдруг он молвит, как во сне:
- Доктор, доктор, а нельзя ли
Изнутри погреться мне,
Чтоб не все на кожу тратить?

Дали стопку - начал жить,
Приподнялся на кровати:

- Разрешите доложить...
Взвод на правом берегу
Жив-здоров назло врагу!
Лейтенант всего лишь просит
Огоньку туда подбросить.

А уж следом за огне
Встанем, ноги разомнем.
Что там есть, перекалечим,
Переправу обеспечим...

Доложил по форме, словно
Тотчас плыть ему назад.
- Молодец! - сказал полковник.
Молодец! Спасибо, брат.

И с улыбкою неробкой
Говорит тогда боец:
- А еще нельзя ли стопку,
Потому как молодец?

Посмотрел полковник строго,
Покосился на бойца.
- Молодец, а будет много -
Сразу две.
- Так два ж конца...

Переправа, переправа!
Пушки бьют в кромешной мгле.

Бой идет святой и правый.
Смертный бой не ради славы,
Ради жизни на земле.

---

[1]Балагур – шутник, весельчак.
[2]Понтон – плавучий мост.

Бахтияр Вагабзаде
«Вот здесь, по эту сторону Аракса…»

Вот здесь, по эту сторону Аракса,
жил мой отец, жил дед, живу и я.
Но по законам сердца, крови, братства
тот берег – тоже родина моя.
Она пребудет, как была, бесценной.
Я ей принадлежу, её пою.
Я никогда её не видел целой,
раздвоенную родину мою.

Лети, моя восторженная ласка!
Моя неутолимая печаль,
струись, смешавшись с водами Аракса,
и к берегу далёкому причаль.
Давным-давно на родину с чужбины
смотрел грустящим взором Физули.
А я…Взираю с родины любимой
на родину, которая вдали.

Перевод Р. Казаковой

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ МАЯКОВСКИЙ

НЕОБЫЧАЙНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ, БЫВШЕЕ С
ВЛАДИМИРОМ МАЯКОВСКИМ ЛЕТОМ НА ДАЧЕ
(Пушкино. Акулова гора, дача Румянцева, 27 верст по Ярославской жел. дор.)

В сто сорок солнц закат пылал,
в июль катилось лето,
была жара,
жара плыла –
на даче было это.
Пригорок Пушкино горбил
Акуловой горою,
а низ горы –
деревней был,
кривился крыш корою.
А за деревнею –
дыра,
и в ту дыру, наверно,
спускалось солнце каждый раз,
медленно и верно.
А завтра
снова
мир залить
вставало солнце ало.
И день за днём
ужасно злить
меня
вот это

стало.
И так однажды разозлясь,
что в страхе всё поблекло,
в упор я крикнул солнцу:
“Слазь!
довольно шляться в пекло!”
Я крикнул солнцу:
“Дармоед!
занежен в облака ты,
а тут – не знай ни зим, ни лет,
сиди, рисуй плакаты!”
Я крикнул солнцу:
“Погоди!
послушай, златолобо,
чем так,
без дела заходить,
ко мне
на чай зашло бы!”
Что я наделал!
Я погиб!
Ко мне,
по доброй воле,
само,
раскинув луч-шаги,
шагает солнце в поле.
Хочу испуг не показать –
и ретируюсь задом.
Уже в саду его глаза.
Уже проходит садом.
В окошки,
в двери,
в щель войдя,
валилась солнца масса,
ввалилось;
дух переведя,
заговорило басом:
“Гоню обратно я огни
впервые с сотворенья.
Ты звал меня?
Чаи гони,
гони, поэт, варенье!”
Слеза из глаз у самого –
жара с ума сводила,
но я ему –
на самовар:
“Ну что ж,
садись, светило!”
Чёрт дернул дерзости мои
орать ему,-
сконфужен,
я сел на уголок скамьи,

боюсь – не вышло б хуже!
Но странная из солнца ясь
струилась,-
и степенность
забыв,
сижу, разговорясь
с светилом
постепенно.
Про то,
про это говорю,
что-де заела Роста,
а солнце:
“Ладно,
не горюй,
смотри на вещи просто!
А мне, ты думаешь,
светить
легко.
– Поди, попробуй! –
А вот идёшь –
взялось идти,
идёшь – и светишь в оба!”
Болтали так до темноты –
до бывшей ночи то есть.
Какая тьма уж тут?
На “ты”
мы с ним, совсем освоясь.
И скоро,
дружбы не тая,
бью по плечу его я.
А солнце тоже:
“Ты да я,
нас, товарищ, двое!
Пойдём, поэт,
взорим,
вспоём
у мира в сером хламе.
Я буду солнце лить своё,
а ты – своё,
стихами”.
Стена теней,
ночей тюрьма
под солнц двустволкой пала.
Стихов и света кутерьма
сияй во что попало!
Устанет то,
и хочет ночь
прилечь,
тупая сонница.
Вдруг – я
во всю светаю мочь –

и снова день трезвонится.
Светить всегда,
светить везде,
до дней последних донца,
светить –
и никаких гвоздей!
Вот лозунг мой
и солнца!

МОЛЛА ПАНАХ ВАГИФ

«Байрам»

Наступает байрам, — да не знаю, как быть?
Заглянул бы в мешок, но мешка не найти.

Рис и масло давно не водились у нас.
Съел бы мяса кусок, но куска не найти!

Бог о нас позабыл — милосердный, благой.
Скажешь слово одно — и в село ни ногой!

У соседей по горло еды дорогой,
А у нас и зубца чеснока не найти!

Нет! Достатком Вагиф не прославится, нет!
В доме даже супруги-красавицы нет.

Нет ума и не скоро прибавится, нет!
Да и разума тоже пока не найти!

Перевод П. Панченко

МИРЗА ШАФИ ВАЗЕХ

«Высокая ростом, стройная телом …»

Высокая ростом, стройная телом, ты идешь перед взором моим.
Сердце мое и слезы мои – о чем мы с вами скорбим?

Не запрещай мне видеть, о шейх, прелесть её лица,
Откуда ты знаешь, что может пройти перед вещим взором певца?

О ты, проходящая предо мной, уничтожаешь меня,
Как солнце, встающее над луной в ярких лучах огня.

Если тело твое красоту свою так ревностно бережет,
Когда же короткая моя рука тебя, трепеща, обовьет?

Потому-то и сладок голос Вазеха в песнях его и стихах,
Что язык певца о тебе говорит, о рубиновых, сладких губах.

(Перевод В. Луговского)

ГУСЕЙН АББАСЗАДЕ

Той победной весной

(Из дневника лейтенанта Гиясзаде)

ЧУЖИЕ

В пути нас застал дождь. Я сидел в кузове трехтонки. Находившийся в кабине шофера зампотех майор Чикилдин остановил машину и позвал меня:

– Гиясзаде, идите в кабину. Там вы промокнете…

– Троим будет тесно, товарищ майор. Не беспокойтесь, не сахарный, не растаю.

Майор не отставал. Пришлось спуститься и сесть рядом с ним.

Наш полк получил недельный отдых. Воспользовавшись им, мы намеревались подлатать дыры, подлечить раны, подремонтировать оружие и сейчас ехали с Чикилдиным на склад артвооружения, расположенный близ города Нойштадта, за новыми пушками.

Темнело, а до места назначения было еще далеко. Из-за того, что электролинии, поврежденные во время боев, не действовали, по вечерам повсюду наступала кромешная тьма. В темноте же на дорогах было опасно – группы солдат и офицеров в беспорядке отступающей гитлеровской армии, отставшие от своих частей, прятались в лесах и временами нападали на наши машины. Поэтому, как только стемнело окончательно, Чикилдин предложил сделать остановку и заночевать в первой же встретившейся на пути деревне.

Полуразрушенная, погруженная в полную темноту, деревня казалась безжизненной. Возможно, в ней и не было людей. Но в одном доме за высоким каменным забором в затемненном окне мы заметили слабую полосочку света. Подъехали к нему, постучали в ворота. На наш стук никто не отозвался.

– Стучи сильнее, может, там из-за дождя ничего не слышат, – сказал шоферу Чикилдин и сам начал бить кулаком по доскам ворот.

Прошло немало времени. Наконец во дворе послышались шаги, кто-то подошел к воротам, прислушался к нашему разговору и после этого дрожащим голосом спросил по-немецки что-то. Мы, естественно, ничего не поняли. Шофер громко крикнул:

– Открывай, открывай, не бойся!

Ворота приоткрылись. Майор фонариком осветил двор. Перед нами стояла молодая женщина. То ли от холода, то ли от страха она дрожала и робко смотрела на нас.

– Не бойтесь, фрау, мы не сделаем вам ничего плохого, – сказал я, – только переночуем.

Шофер загнал машину во двор. Закрыв ворота, мы поднялись на веранду.

– Можно войти? – спросил майор.

Получив разрешение хозяйки, мы вытерли ноги о коврик, лежавший у порога, вошли в дом; сняв шинели, уселись у стола.

Я внимательно оглядел комнату. Она, несомненно, служила гостиной. И первое, что привлекло внимание, был необычный беспорядок. Словно кто-то хотел, чтобы комната выглядела беднее, и привел ее в такое состояние. По тому, как стояла мебель, чувствовалось, что часть вещей была торопливо спрятана. Взгляд мой остановился на висящей в позолоченной раме картине. Это была выполненная маслом копия известной работы Хосе де Риберы "Святая Инесса и ангел, укрывающий ее". Картина как бы свидетельствовала, что дом принадлежит не простому бауэру, а представителю деревенской интеллигенции.

Наше появление в доме, как видно, очень встревожило хозяйку, но она старалась не показывать виду, что обеспокоена, заверила нас, что сделает все, чтобы мы могли хорошо отдохнуть, и торопливо принялась собирать разбросанные по полу детские игрушки. Это была видная, красивая женщина лет тридцати пяти с немного увядшим лицом, с тенями под большими карими глазами, с рассыпавшимися по плечам шелковистыми волосами. Иногда она поднимала голову, смотрела на нас, но чувствовалось, что все существо ее в соседней комнате, откуда иногда слышались приглушенные детские голоса и возня. Минут через пять там раздался плач. Женщина

побежала туда. Мы немного поболтали о том о сем, затем достали из вещмешка, который шофер принес из машины, хлеб, тушенку и перекусили.

Время шло. Усталость брала свое. Чикилдин поинтересовался у хозяйки, где нам можно переночевать. Женщина постелила в гостиной ковер, принесла несколько матрацев, перин, разложила их на ковре. Мы поблагодарили ее, и она снова ушла к детям.

Майор и водитель, как только легли на свои места, так тут же и уснули. А мне не спалось. Каким бы ни был усталым, я долго не мог уснуть в чужом доме, вертелся с боку на бок, думал, фантазировал, и нередко так продолжалось до утра.

Последние дни мне часто снилась мама, которая проводила на фронт троих сыновей и теперь жила с сестрой в Баку. Я никак не мог забыть ее ласкового лица. И сейчас, в чужой стране, в этом чужом доме, я снова вспоминал ее, вспоминал, с какой заботливостью стелила мне постель она.

Было уже далеко за полночь. Стояла глубокая тишина. И вдруг в соседней комнате что-то тяжело грохнулось об пол. Мы все трое вскочили на ноги, схватились за оружие.

Постучали в дверь соседней комнаты. Никто не ответил. Мы приоткрыли дверь и вошли. Хозяйка держала на руках мальчишку. Он плакал. Видно, упал, сонный, с кровати и сильно ушибся. Проснулись и другие дети – девочка и мальчик лет пяти. Съежившись, они сидели на голых пружинных матрацах своих кроваток и испуганно таращились на нас – чужих дядей в чужой для них форме.

Я удивился: "А где же их постели?" И в этот момент майор, словно поняв, о чем я думаю, спросил:

– Гасан, ты обратил внимание, на чем спят ребята?

Мы тут же вернулись к себе и посмотрели на свои перины. Да, сомнений не оставалось – вечером хозяйка, из-за того что других у нее не было, постелила нам постели детей.

– Побоялась, что рассердимся, – нашел я объяснение тому, что сделала хозяйка.

Майор сгреб в охапку свой матрац и перину, отнес в соседнюю комнату, сложил на одну из кроватей.

– Нам это совсем ни к чему. Люди военные, можем и на голом полу переспать.

Мы с шофером последовали его примеру.

– Постелите детям. Пусть спят как всегда, – сказал женщине майор. – У них вон глаза слипаются.

То, как мы поступили, удивило и тронуло хозяйку.

Опустив мальчика на пол, она вытерла набежавшие слезы, два раза повторила «данке», "данке" и поклонилась.

Мы вернулись в гостиную.

– Ну, а теперь давайте спать по-фронтовому, – сказал майор, подкладывая под голову полевую сумку и накрываясь шинелью. – Для солдата нет одеяла надежней шинели.

Утром я проснулся раньше всех, умылся и вышел на террасу. Дождь, ливший всю ночь, прекратился. Воздух был напоен запахами садовых цветов. По небу плыли белые облака. Я спустился во двор, закурил папиросу, затянулся. Тут из погреба послышался шорох. Через некоторое время в его дверях показалась хозяйка с охапкой дров на руках. Увидев меня, она приветливо поздоровалась! Сейчас она совсем не была похожа на ту испуганную нашим поздним визитом женщину.

– Лейтенант, вы что так рано проснулись? Неудобно было спать? – С этими словами во двор вышел Чикилдин. Наклоняясь и разгибаясь, он стал делать зарядку.

Утренняя свежесть давала о себе знать. Я застегнул ворот кителя. И тут в другом конце деревни послышался грохот танков. Судя по всему, они направлялись к фронту. Майор распрямился, прислушался к грохоту и стал торопить нас:

– Шевелитесь, ребята! Давайте скорее позавтракаем – ив путь! К вечеру надо быть в части!

Когда мы вернулись в дом, все дети уже проснулись и оделись. Увидев нас, они испуганно попрятались по углам. Я погладил по головке светловолосую девчушку, которая пряталась за дверью, и спросил:

– Ты от кого это прячешься, чертенок? Она, не поняв, что я спросил, расплакалась.

– Ну, чего ты испугалась, глупая? Не плачь… – Я взял со стола несколько кусочков сахара, приготовленного шофером к завтраку, и дал ей.

Увидев это, к нам потянулись и другие ребята. Майор сгреб в горсть весь сахар и стал раздавать его малышам.

– Пусть едят, – сказал он. – Дети любят сладкое, а наверное, кроме дурацкого сахарина, давно ничего не видели.

Малыши чутко улавливают доброту. Через минуту, уже ничего не боясь, они залезли к нам на колени и пытались что-то рассказать, лепеча по-своему, но не настолько успели мы усвоить немецкий, чтобы понять их.

Мы не знали, кто их отец и где он сейчас, и не стали спрашивать об этом хозяйку. Да это было и не суть важно – в нас все росло и росло чувство жалости к ребятишкам.

Гладя волосенки сидящей у меня на коленях девочки, я вспоминал увиденное мной, когда мы освобождали Крым.

…Внезапной атакой наша часть выбила немцев из деревни, но когда мы вошли в нее, на улице, во дворах не увидели ни единой души. Наш командир батареи приказал солдатам внимательно осмотреть дома – вдруг там прячутся фашисты. Бойцы тщательно проверили все закоулки, немцев нигде не обнаружили, но на краю деревни нашли расстрелянных фашистами молодую женщину и троих детей. В одной из расстрелянных – девочке лет шести – еще теплилась жизнь, надо было оказать ей немедленную помощь. Санинструктор взяла свою сумку, и мы помчались на окраину.

То, что мы увидели, прибежав туда, потрясло нас. Фашисты расстреляли детей в одной комнате, а мать – в другой. Можно было предположить, что они пытались изнасиловать женщину, выгнали и заперли детей, чтобы те им не мешали. Женщина, видно, отчаянно сопротивлялась – платье ее было изорвано, лицо покрывали кровоподтеки, на обнаженной груди краснели запекшейся кровью три пулевых метки…

Мы вырыли неподалеку от дома могилу и похоронили расстрелянных, а умирающую девочку отправили в медсанбат. На следующий день нам сообщили, что, несмотря на все усилия врачей, спасти ее не удалось…

– Так… поели, попили, отдохнули, теперь поехали.– сказал Чикилднн и поднялся.

Водитель хотел было спрятать в вещмешок оставшуюся нетронутой буханку хлеба, банку тушенки, но майор остановил его руку:

– Пусть останется ребятишкам. А мы себе найдем что-нибудь…

Шофер открыл ворота и стал заводить машину. Мы уселись в нее. Хозяйка вместе с детьми вышла во двор. Когда машина выехала за ворота, нам вслед замахали детские ручонки, раздалось ребячье "Ауфвидерзеен! Ауф-видерзеен!".

Нас провожали, как провожают близких или родных людей…

ГАВРИИЛ РОМАНОВИЧ ДЕРЖАВИН

«Властителям и судиям»

Восстал всевышний бог, да судит
Земных богов во сонме их;
Доколе, рек, доколь вам будет
Щадить неправедных и злых?

Ваш долг есть: сохранять законы,
На лица сильных не взирать,
Без помощи, без обороны

Сирот и вдов не оставлять.

Ваш долг: спасать от бед невинных.
Несчастливым подать покров;
От сильных защищать бессильных,
Исторгнуть бедных из оков.

Не внемлют! видят — и не знают!
Покрыты мздою4 очеса5:
Злодействы землю потрясают,
Неправда зыблет небеса.

Цари! Я мнил, вы боги властны,
Никто над вами не судья,
Но вы, как я подобно, страстны,
И так же смертны, как и я.

И вы подобно так падёте,
Как с древ увядший лист падет!
И вы подобно так умрёте,
Как ваш последний раб умрёт!

Воскресни, боже! боже правых!
И их молению внемли:
Приди, суди, карай лукавых,
И будь един царём земли!

(1780)

Сонм[1] – собрание, множество.
Доколе[2]- до каких пор.
Рек[3] – сказал.
Мзда[4] - взятка.
Очеса[5] – глаза

ИВАН ПОЛИКАРПОВИЧ ТРЕТЬЯКОВ

«Бывают минуты…»

Только что окончился налёт немецкой авиации, и уцелевшие лодки, на которых переправлялась наша пехота, торопливо шли к берегам: одни к правому, другие к левому — кому куда ближе. Отчаянно тарахтя мотором, черпая бортом воду, барахтался у левого берега повреждённый катер.

Вскоре в середине Днепра остался один понтон[1]. Никем не управляемый, он послушно подчинялся волне.

На понтон был погружен взвод лейтенанта Сергачёва — подкрепление, которое ожидал на плацдарме комбат[2]. Пятнадцать сильных, здоровых, опытных бойцов и одна девушка санинструктор[3] — вот сколько людей село в эту выносливую посудину. Что творилось теперь за её высокими бортами — никто не знал.

...Бомба ударила рядом и взорвалась, едва коснувшись воды.

Ещё когда она оторвалась от серо-жёлтого брюха самолёта, необыкновенное чутьё, в котором за многие месяцы борьбы со смертью сконцентрировались и безошибочный глазомер, и мгновенный, почти подсознательный расчёт, подсказало Сергачёву, что от этой бомбы не уйти, она упадёт прямо на них.

Лейтенант Сергачёв сделал единственное, что было возможно сделать в оставшиеся мгновения, — изо всех сил крикнул солдатам “ложись” и посмотрел, легли или нет. Последнее, что он мог отметить в сознании, это лёгкий, едва заметный шелестящий звук и всё возрастающее давление упругой, душной волны воздуха...

Сознание вернулось от нестерпимой боли. Сергачёв понял, что ранен. Он с трудом приподнялся на правом локте и, сколько мог, вытянул длинную, по-мальчишески тонкую шею, чтобы посмотреть через борт.

Увидев, что берег не только не приближается, а, наоборот, как бы уплывает назад, Сергачёв вспомнил, что он в понтоне, а понтон на реке. Пронзила мысль: что же с людьми? Он стал присматриваться. Одни уже лежали не шевелясь, другие сидели; некоторые, видимо, что-то кричали — он видел, как они открывали рты, но почему-то не слышал. Потом что-то лопнуло у него в ушах, и сразу в сознание ворвались крики, стоны, — и окружавшая понтон тишина.

— Сездра, — жалобно тянул кто-то с ударением на первом слоге, — помоги, эй, сездра-а...

Сергачёв узнал голос Гаибова, лучшего снайпера взвода. И то, что Гаибов тянул так жалобно, потрясло его. Голос между тем всхлипнул и затих. Умер, значит, весельчак Гаибов? Или жив ещё?

А где же всё-таки сестра?

Санинструктор лежала на носовой банке[4], уткнувшись головой в борт. В Сергачёве проснулось недавнее недоброжелательное чувство к ней; с раздражением подумал о том, что не стоило брать её с собой. Ротный пихнул ему в лодку это полусонное сокровище, эту замухрышку, какой ему, Сергачёву, в общем, не приходилось встречать всю войну. Маленькая, тонюсенькая, она казалась девчонкой-подростком и поначалу вызывала жалость; как-то неловко было оттого. что и дети воюют, и в этих ещё неоперившихся подростках порой нуждаются взрослые... Зато лицо санинструктора производило совсем иное впечатление — усталое, измученное, всё в мелких морщинках, оно заставляло предполагать, что девушка либо значительно старше, чем кажется, либо бог знает что пережила и перевидела.

Сергачёв вскочил и схватился за весло. А санинструктор, похоже, спала. Убеждённый, что она погибла — глупо, по-овечьи погибла, даже не попытавшись спастись, — он, сам не зная почему, всё-таки хрипло крикнул:

— Сестра!

К его изумлению, она зашевелилась, помотала головой, села... Поистине магической силой обладает командирский голос! Уяснив это, Сергачёв крикнул ещё раз. Белёсые ресницы сестры испуганно дрогнули, правая рука потянулась к санитарной сумке. Девушка спросила встревоженно:

— Вы ранены?

— А вы — нет? — ядовито ответил Сергачёв. — Ну-ка, осмотрите всех, кто дышит, и самого здорового перевяжите, чтобы мне помог!

Сестра, словно серенький воробушек, заскакала, закопошилась среди солдат.

Пчёлкина хлопотала около ефрейтора Боровских. Глубоко запавшими глазами ефрейтор следил за худыми ручонками медсестры — они так и летали вокруг его бедра, облитого кровью.

— Братцы! — воскликнул Сергачёв. — Сносит нас прямо к немцам. Кто может, чем может... гребите к нашему берегу! Бросьте всё и гребите к берегу!

Лицо Сергачёва исказилось от боли, и он закричал медсестре — она заканчивала перевязывать ему раздробленную кисть руки:

— Брось! Помогай им! — Тут голос его сдал, упал до шёпота. — Брось, говорю! Даже мёртвым и то не хочу попадать к ним... А тебе... тебе совсем нельзя... Совсем... Понимаешь ты или нет? Каждый миг дорог, пойми!

Пчёлкина смотрела на него растерянно.

— Весло, весло возьми! — хрипел Сергачёв. На лбу у него, на едва опушённой редким волосом верхней губе выступил крупный пот, а на подбородке бог знает откуда взялась кровь. — Ребята, гребите! А ты, сестра, правь. Правь, говорю!

Что значит “правь”? Как это делается? Немалых трудов стоило ей вытащить из уключины[5] весло. Пробравшись на корму, она кое-как устроилась на задней банке, высунула весло наружу и оглянулась на Сергачёва: что делать дальше?

Сергачёв лежал с закрытыми глазами. Спросить было некого.

Сердце у Пчёлкиной ёкнуло; ей стало страшнее, чем в тот момент, когда она пришла в себя и увидела вокруг раненых и убитых.

Что же делать, что? Она попробовала поработать веслом, отталкиваясь то в одну, то в другую сторону, и каждый раз понтон поворачивался не туда, куда она хотела.

Снова с надеждой взглянула она на Сергачёва. Сергачёв лежал, не подавая признаков жизни.

Она осознала острее и непосредственнее, чем несколько минут назад, что осталась невредимой — одна среди всех, и следовательно всё-всё лежит теперь на её совести: спасение живых, раненых и мёртвых. И её собственное спасение.

Только ведь очень, очень скоро понтон подплывет к тому месту, где справа — немцы и слева — немцы...

— Боровских! Гребите против течения! — крикнула она. И сама испугалась, что крикнула. Зачем? Ефрейтор не станет её слушать, как не слушал никогда...

Но нет — Боровских послушался. Он словно подгонял воду, а понтон, тихонько правда, но шёл вверх по течению.

Пчёлкина старалась работать веслом, как Боровских; это ей не удалось, и, не рассчитав своих усилий, она чуть не свалилась в воду.

Боровских стрельнул в неё глазами так свирепо, что она вся подобралась и стала следить за результатами своих действий: что будет с понтоном, если грести справа, и, наоборот, куда он повернётся, если грести слева. Результаты этих наблюдений — мгновенных, почти подсознательных — сказали ей многое. Постепенно она всё меньше и меньше допускала неверных движений пустых, неуверенных взмахов весла. И вдруг заметила: дело пошло на лад, понтон стал подвигаться к нашему берегу; во всяком случае, его не сносило вниз...

На её счастье, очнулся угрюмый Бугаев и сразу же руками за борт; Боровских всё ещё старался, как мог, и ещё один солдат, фамилии которого она не знала, стоя на коленях, грёб прикладом автомата...

Понтон пополз вверх по течению; Пчёлкина сначала легонько, а затем покруче стала поворачивать его к берегу. Тут она переборщила, понтон развернулся поперёк течения, пришлось его выравнивать, тратя на это силы и дорогие секунды. Зато она окончательно поняла, как надо грести, и с этого момента не ошибалась больше.

— Сестра, — послышался голос Бугаева.

Она повернулась к нему, и сержант, несмотря на то что у него гудело в голове, успел предупредить: понтон выходит на быстрину. Посоветовал:

— Жми... к берегу... веди наискось! Поднатужься как-нибудь...

Одна... Никто ей не поможет больше ни советом, ни делом. А мгновения бегут, бегут... Понтон опять поплыл вниз; вода в нём всё прибывала, тихо шелестела она за бортом, прозрачно-зелёная, загадочная, неизвестной глубины...

Пчёлкина не знала, сколько прошло времени после того, как она очнулась от крика Сергачёва; ей думалось, что очень много...

И тут немцы, наблюдавшие за странными бросками и манипуляциями[6] понтона, заметили, что понтон выровнялся, как бы обрёл силу и уверенно пошёл к берегу. Они поняли наконец, что эта девушка вот-вот уведёт понтон, и открыли огонь.

Бил крупнокалиберный пулемёт. Вода звучно, отрывисто чмокала, кипела у самого борта.

Пчёлкину это вынудило лечь на дно — она решила переждать обстрел. Что-то холодное обхватило ей ноги, живот, грудь; она чуть не закричала от ужаса. Вода! Она зальёт лежавших на дне; если кто из них жив — захлебнётся.

Пчёлкина встала. Одного за другим посадила к бортам всех — и живых и мёртвых.

У Пчёлкиной гудело в ушах, тряслись руки.

Вражеский пулемёт сопровождал понтон неотступно; рядом взорвалось несколько мин.

Нет худа без добра: от этих взрывов пришли в себя Боровских и Бугаев, очнулся Сергачёв, а затем и Студёный.

Лейтенант смотрел на неё одобрительно и с надеждой.

Берег приближался. Из зарослей ивняка неслись крики — она не могла понять, кто и о чём кричит. Ниже по течению реки суетились в кустах какие-то люди в серо-зелёном. Боже, они ставили пулемёт! Легли около него... Немцы! А вдоль берега, прямо на пулемётчиков, строча на ходу из автоматов, бежали наши — она узнала их по выцветшим гимнастёркам.

Успеют или не успеют добежать, пока немцы не открыли огонь? Вряд ли...

Пчёлкина отстегнула кобуру пистолета: убить, господа фашисты, вы её сможете, а взять её и людей, которые волей судьбы оказались на её попечении, — никогда!

Снова появились уверенность и надежда. Но метрах в пятидесяти от берега силы её оставили. Она не заметила, когда человек пять-шесть наших, с оружием и в одежде, кинулись в воду...

...Из понтона выгружали раненых и убитых; автоматчики устраивались в только что занятых окопах ликвидированного немецкого “пятачка”...

Ничего этого Пчёлкина не видела и не слышала. Она лежала на песчаном бугре, отдыхая, или, точнее, медленно приходя в себя после длинного-длинного плавания через Днепр, плавания, которое, как сказал ротный, длилось ровно двадцать минут.

Невдалеке лежал на носилках Сергачёв. Приподнимая голову, он спрашивал санитаров, кто из его солдат уцелел, где сестра. Да, о санинструкторе Пчёлкиной он думал теперь с признательностью. Он знал по опыту, что бывают минуты, когда человек раскрывается сразу, весь. Но тут... Откуда это взялось?

---

[1] Понто́н — это плавучее средство, предназначенное для поддержания тяжестей на воде. Использовался обычно при отсутствии мостов.

[2] Комбат — командир батальона, реже - командир батареи.

[3] Санинструктор — санитарный инструктор, лицо младшего медицинского состава военно-медицинской службы, медсестра.

[4] Носовая банка — доска, служащая для сиденья на судне.

[5] Уключина — крепление, в котором подвижно закрепляется весло.

[6] Манипуляция — здесь: в знач. “действия, движения

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ

«Русский язык»

Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины,- ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя - как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ

«Кавказский пленник»

(Быль)

1

Служил на Кавказе офицером один барин. Звали его Жилин.

Пришло раз ему письмо из дома. Пишет ему старуха мать: «Стара я уж стала, и хочется перед смертью повидать любимого сынка. Приезжай со мной проститься, похорони, а там и с богом, поезжай опять на службу. А я тебе и невесту приискала: и умная, и хорошая, и именье есть. Полюбится тебе, может, и женишься и совсем останешься».

Жилин и раздумался: «И в самом деле: плоха уж старуха стала; может, и не придется увидать. Поехать; а если невеста хороша — и жениться можно».

Пошел он к полковнику, выправил отпуск, простился с товарищами, поставил своим солдатам четыре ведра водки на прощанье и собрался ехать.

На Кавказе тогда война была. По дорогам ни днем, ни ночью не было проезда. Чуть кто из русских отъедет или отойдет от крепости, татары или убьют, или уведут в горы. И было заведено, что два раза в неделю из крепости в крепость ходили провожатые солдаты. Спереди и сзади идут солдаты, а в средине едет народ.

Дело было летом. Собрались на зорьке обозы за крепость, вышли провожатые солдаты и тронулись по дороге. Жилин ехал верхом, а телега с его вещами шла в обозе.

Ехать было 25 верст. Обоз шел тихо; то солдаты остановятся, то в обозе колесо у кого соскочит, или лошадь станет, и все стоят — дожидаются.

Солнце уже и за полдни перешло, а обоз только половину дороги прошел. Пыль, жара, солнце так и печет, а укрыться негде. Голая степь, ни деревца, ни кустика по дороге.

Выехал Жилин вперед, остановился и ждет, пока подойдет обоз. Слышит, сзади на рожке заиграли,— опять стоять. Жилин и подумал: «А не уехать ли одному, без солдат? Лошадь подо мной добрая, если и нападусь на татар — ускачу. Или не ездить?..»

Остановился, раздумывает. И подъезжает к нему на лошади другой офицер, Костылин, с ружьем, и говорит:

— Поедем, Жилин, одни. Мочи нет, есть хочется, да и жара. На мне рубаху хоть выжми. — А Костылин — мужчина грузный, толстый, весь красный, а пот с него так и льет. Подумал Жилин и говорит:

— А ружье заряжено?

— Заряжено.

— Ну, так поедем. Только уговор — не разъезжаться.

И поехали они вперед по дороге. Едут степью, разговаривают да поглядывают по сторонам. Кругом далеко видно.

Только кончилась степь, пошла дорога промеж двух гор в ущелье, Жилин и говорит:

— Надо выехать на гору, поглядеть, а то тут, пожалуй, выскочат из-за горы и не увидишь.

А Костылин говорит:

— Что смотреть? поедем вперед.

Жилин не послушал его.

— Нет,— говорит,— ты подожди внизу, а я только взгляну.

И пустил лошадь налево, на гору. Лошадь под Жилиным была охотницкая (он за нее сто рублей заплатил в табуне жеребенком и сам выездил); как на крыльях взнесла его на кручь. Только выскакал, глядь — а перед самым им, на десятину места, стоят татары верхами,— человек тридцать. Он увидал, стал назад поворачивать; и татары его увидали, пустились к нему, сами на скаку выхватывают ружья из чехлов. Припустил Жилин под кручь во все лошадиные ноги, кричит Костылину:

— Вынимай ружье! — а сам думает на лошадь свою: «Матушка, вынеси, не зацепись ногой, спотыкнешься — пропал. Доберусь до ружья, я им не дамся».

А Костылин, заместо того чтобы подождать, только увидал татар — закатился что есть духу к крепости. Плетью ожаривает лошадь то с того бока, то с другого. Только в пыли видно, как лошадь хвостом вертит.

Жилин видит — дело плохо. Ружье уехало, с одной шашкой ничего не сделаешь. Пустил он лошадь назад к солдатам — думал уйти. Видит, ему наперерез катят шестеро. Под ним лошадь добрая, а под теми еще добрее, да и наперерез скачут. Стал он окорачивать, хотел назад поворотить, да уж разнеслась лошадь, не удержит, прямо на них летит. Видит — близится к нему с красной бородой татарин на сером коне. Визжит, зубы оскалил, ружье наготове.

«Ну,— думает Жилин,— знаю вас, чертей, если живого возьмут, посадят в яму, будут плетью пороть. Не дамся же живой».

А Жилин хоть невелик ростом, а удал был. Выхватил шашку, пустил лошадь прямо на красного татарина, думает: «Либо лошадью сомну, либо срублю шашкой».

На лошадь места не доскакал Жилин, выстрелили по нем сзади из ружей и попали в лошадь. Ударилась лошадь оземь со всего маху,— навалилась Жилину на ногу.

Хотел он подняться, а уж на нем два татарина вонючие сидят, крутят ему назад руки. Рванулся он, скинул с себя татар,— да еще соскакали с коней трое на него, начали бить прикладами по голове. Помутилось у него в глазах и зашатался. Схватили его татары, сняли с седел подпруги запасные, закрутили ему руки за спину, завязали татарским узлом, поволокли к седлу. Шапку с него сбили, сапоги стащили, все обшарили, деньги, часы вынули, платье все изорвали. Оглянулся Жилин на свою лошадь. Она, сердечная, как упала на бок, так и лежит, только бьется ногами,— до земли не достает; в голове дыра, и из дыры так и свищет кровь черная,— на аршин кругом пыль смочила.

Один татарин подошел к лошади, стал седло снимать. Она все бьется,— он вынул кинжал, прорезал ей глотку. Засвистело из горла, трепанулась, и пар вон.

Сняли татары седло, сбрую. Сел татарин с красной бородой на лошадь, а другие подсадили Жилина к нему

на седло; а чтобы не упал, притянули его ремнем за пояс к татарину и повезли в горы.

Сидит Жилин за татарином, покачивается, тычется лицом в вонючую татарскую спину. Только и видит перед собой здоровенную татарскую спину, да шею жилистую, да бритый затылок из-под шапки синеется. Голова у Жилина разбита, кровь запеклась над глазами. И нельзя ему ни поправиться на лошади, ни кровь обтереть. Руки так закручены, что в ключице ломит.

Ехали они долго с горы на гору, переехали вброд реку, выехали на дорогу и поехали лощиной.

Хотел Жилин примечать дорогу, куда его везут,— да глаза замазаны кровью, а повернуться нельзя.

Стало смеркаться. Переехали еще речку, стали подниматься по каменной горе, запахло дымом, забрехали собаки.

Приехали в аул1. Послезли с лошадей татары, собрались ребята татарские, окружили Жилина, пищат, радуются, стали каменьями пулять в него.

Татарин отогнал ребят, снял Жилина с лошади и кликнул работника. Пришел ногаец скуластый, в одной рубахе. Рубаха оборванная, вся грудь голая. Приказал что-то ему татарин. Принес работник колодку: два чурбака дубовых на железные кольца насажены, и в одном кольце пробойчик и замок.

Развязали Жилину руки, надели колодку и повели в сарай: толкнули его туда и заперли дверь. Жилин упал на навоз. Полежал, ощупал в темноте, где помягче, и лег.

2

Почти всю эту ночь не спал Жилин. Ночи короткие были. Видит — в щелке светиться стало. Встал Жилин, раскопал щелку побольше, стал смотреть.

Видна ему из щелки дорога — под гору идет, направо сакля татарская, два дерева подле нее. Собака черная лежит на пороге, коза с козлятами ходит, хвостиками подергивают. Видит — из-под горы идет татарка молоденькая, в рубахе цветной, распояской, в штанах и сапогах, голова кафтаном покрыта, а на голове большой кувшин жестяной с водой. Идет, в спине подрагивает, перегибается, а за руку татарчонка ведет бритого, в одной рубашке. Прошла татарка в саклю с водой, вышел татарин вчерашний с красной бородой, в бешмете шелковом, на ремне кинжал серебряный, в башмаках на босу ногу. На голове шапка высокая, баранья, черная, назад заломлена. Вышел, потягивается, бороду красную сам поглаживает. Постоял, велел что-то работнику и пошел куда-то.

Проехали потом на лошадях двое ребят к водопою. У лошадей храп мокрый. Выбежали еще мальчишки бритые, в одних рубашках, без порток, собрались кучкой, подошли к сараю, взяли хворостину и суют в щелку. Жилин как ухнет на них: завизжали ребята, закатились бежать прочь, только коленки голые блестят.

А Жилину пить хочется, в горле пересохло; думает — хоть бы пришли проведать. Слышит — отпирают сарай. Пришел красный татарин, а с ним другой, поменьше ростом, черноватенький. Глаза черные, светлые, румяный, бородка маленькая, подстрижена; лицо веселое, все смеется. Одет черноватый еще лучше: бешмет шелковый синий, галунчиком обшит. Кинжал на поясе большой, серебряный; башмачки красные, сафьянные, тоже серебром обшиты. А на тонких башмачках другие толстые башмаки. Шапка высокая, белого барашка.

Красный татарин вошел, проговорил что-то, точно ругается, и стал; облокотился на притолку, кинжалом пошевеливает, как волк исподлобья косится на Жилина. А черноватый,— быстрый, живой, так весь на пружинах и ходит,— подошел прямо к Жилину, сел на корточки, оскаливается, потрепал его по плечу, что-то начал часто-часто по-своему лопотать, глазами подмигивает, языком прищелкивает, все приговаривает: «корошоурус! корошоурус!»

Ничего не понял Жилин и говорит: «Пить, воды пить дайте!»

Черный смеется. «Корош урус»,— все по-своему лопочет.

Жилин губами и руками показал, чтоб пить ему дали.

Черный понял, засмеялся, выглянул в дверь, кликнул кого-то: «Дина!»

Прибежала девочка — тоненькая, худенькая, лет тринадцати и лицом на черного похожа. Видно, что дочь. Тоже — глаза черные, светлые и лицом красивая. Одета в рубаху длинную, синюю, с широкими рукавами и без пояса. На полах, на груди и на рукавах отсрочено красным. На ногах штаны и башмачки, а на башмачках другие в высокими каблуками; на шее монисто, всё из русских полтинников. Голова непокрытая, коса черная, и в косе лента, а на ленте привешаны бляхи и рубль серебряный.

Велел ей что-то отец. Убежала и опять пришла, принесла кувшинчик жестяной. Подала воду, сама села на корточки, вся изогнулась так, что плечи ниже колен ушли. Сидит, глаза раскрыла, глядит на Жилина, как он пьет, как на зверя какого.

Подал ей Жилин назад кувшин. Как она прыгнет прочь, как коза дикая. Даже отец засмеялся. Послал ее еще куда-то. Она взяла кувшин, побежала, принесла хлеба пресного на дощечке круглой и опять села, изогнулась, глаз не спускает — смотрит.

Ушли татары, заперли опять дверь.

Погодя немного, приходит к Жилину ногаец и говорит:

— Айда, хозяин, айда!

Тоже не знает по-русски. Только понял Жилин, что велит идти куда-то.

Пошел Жилин с колодкой, хромает, ступить нельзя, так и воротит ногу в сторону. Вышел Жилин за ногайцем. Видит — деревня татарская, домов десять, и церковь ихняя, с башенкой. У одного дома стоят три лошади в седлах. Мальчишки держат в поводу. Выскочил из этого дома черноватый татарин, замахал рукой, чтоб к нему шел Жилин. Сам смеется, все говорит что-то по-своему, и ушел в дверь. Пришел Жилин в дом. Горница хорошая, стены глиной гладко вымазаны. К передней стене пуховики пестрые уложены, по бокам висят ковры дорогие; на коврах ружья, пистолеты, шашки — всё в серебре. В одной стене печка маленькая вровень с полом. Пол земляной, чистый, как ток, и весь передний угол устлан войлоками; на войлоках ковры, а на коврах пуховые подушки. И на коврах в одних башмаках сидят татары: черный, красный и трое гостей. За спинами у всех пуховые подушки подложены, а перед ними на круглой дощечке блины просяные и масло коровье распущено в чашке, и пиво татарское — буза, в кувшинчике. Едят руками, и руки все в масле.

Вскочил черный, велел посадить Жилина в сторонке, не на ковер, а на голый пол, залез опять на ковер, угощает гостей блинами и бузой. Посадил работник Жилина на место, сам снял верхние башмаки, поставил у двери рядком, где и другие башмаки стояли, и сел на войлок поближе к хозяевам; смотрит, как они едят, слюни утирает.

Поели татары блины, пришла татарка в рубахе такой же, как и девка, и в штанах; голова платком покрыта. Унесла масло, блины, подала лоханку хорошую и кувшин с узким носком. Стали мыть руки татары, потом сложили руки, сели на коленки, подули на все стороны и молитвы прочли. Поговорили по-своему. Потом один из гостей-татар повернулся к Жилину, стал говорить по-русски.

— Тебя,— говорит,— взял Кази-Мугамед,— сам показывает на красного татарина,— и отдал тебя Абдул-Мурату,— показывает на черноватого.— Абдул-Мурат теперь твой хозяин. — Жилин молчит.

Заговорил Абдул-Мурат, и все показывает на Жилина, и смеется, и приговаривает: «солдат урус, корошо урус».

Переводчик говорит: «Он тебе велит домой письмо писать, чтоб за тебя выкуп прислали. Как пришлют деньги, он тебя пустит».

Жилин подумал и говорит: «А много ли он хочет выкупа?»

Поговорили татары, переводчик и говорит:

— Три тысячи монет.

— Нет,— говорит Жилин,— я этого заплатить не могу.

Вскочил Абдул, начал руками махать, что-то говорит Жилину,— всё думает, что он поймет. Перевел переводчик, говорит: «Сколько же ты дашь?»

Жилин подумал и говорит: «Пятьсот рублей».

Тут татары заговорили часто, все вдруг. Начал Абдул кричать на красного, залопотал так, что слюни изо рта брызжут. А красный только жмурится да языком пощелкивает.

Замолчали они; переводчик и говорит:

— Хозяину выкупу мало пятьсот рублей. Он сам за тебя двести рублей заплатил. Ему Кази-Мугамед был должен. Он тебя за долг взял. Три тысячи рублей, меньше нельзя пустить. А не напишешь, в яму посадят, наказывать будут плетью.

«Эх,— думает Жилин,— с ними, что робеть, то хуже». Вскочил на ноги и говорит:

— А ты ему, собаке, скажи, что если он меня пугать хочет, так ни копейки ж не дам, да и писать не стану. Не боялся, да и не буду бояться вас, собак!

Пересказал переводчик, опять заговорили все вдруг.

Долго лопотали, вскочил черный, подошел к Жилину.

— Урус,— говорит,— джигит, джигит урус!

Джигит, по-ихнему, значит «молодец». И сам смеется; сказал что-то переводчику, а переводчик говорит:

— Тысячу рублей дай.

Жилин стал на своем: «Больше пятисот рублей не дам. А убьете,— ничего не возьмете».

Поговорили татары, послали куда-то работника, а сами то на Жилина, то на дверь поглядывают. Пришел работник, и идет за ним человек какой-то, толстый, босиком и ободранный; на ноге тоже колодка.

Так и ахнул Жилин,— узнал Костылина. И его поймали. Посадили их рядом; стали они рассказывать друг другу, а татары молчат, смотрят. Рассказал Жилин, как с ним дело было; Костылин рассказал, что лошадь под ним стала и ружье осеклось и что этот самый Абдул нагнал его и взял.

Вскочил Абдул, показывает на Костылина, что-то говорит.

Перевел переводчик, что они теперь оба одного хозяина, и кто прежде выкуп даст, того прежде отпустят.

— Вот,— говорит Жилину,— ты все серчаешь, а товарищ твой смирный; он написал письмо домой, пять тысяч монет пришлют. Вот его и кормить будут хорошо и обижать не будут.

Жилин и говорит:

— Товарищ, как хочет; он, может, богат, а я не богат. Я,— говорит,— как сказал, так и будет. Хотите убивайте,— пользы вам не будет, а больше пятисот рублей не напишу.

Помолчали. Вдруг как вскочит Абдул, достал сундучок, вынул перо, бумаги лоскут и чернила, сунул Жилину, хлопнул по плечу, показывает: «пиши». Согласился на 500 рублей.

— Погоди еще,— говорит Жилин переводчику,— скажи ты ему, чтоб он нас кормил хорошо, одел-обул, как следует, чтоб держал вместе,— нам веселей будет, и чтобы колодку снял. — Сам смотрит на хозяина и смеется. Смеется и хозяин. Выслушал и говорит:

— Одежу самую лучшую дам: и черкеску, и сапоги, хоть жениться. Кормить буду, как князей. А коли хотят жить вместе — пускай живут в сарае. А колодку нельзя снять — уйдут. На ночь только снимать буду. — Подскочил, треплет по плечу. — Твоя хорош, моя хорош!

Написал Жилин письмо, а на письме не так написал, чтоб не дошло. Сам думает: «Я уйду».

Отвели Жилина с Костылиным в сарай, принесли им туда соломы кукурузной, воды в кувшине, хлеба, две черкески старые и сапоги истрепанные, солдатские. Видно, с убитых солдат стащили. На ночь сняли с них колодки и заперли в сарай.

3

Жил так Жилин с товарищем месяц целый. Хозяин все смеется. — Твоя, Иван, хорош,— моя, Абдул, хорош.— А кормил плохо,— только и давал, что хлеб пресный из просяной муки, лепешками печеный, а то и вовсе тесто непеченое.

Костылин еще раз писал домой, все ждал присылки денег и скучал. По целым дням сидит в сарае и считает дни, когда письмо придет, или спит. А Жилин знал, что его письмо не дойдет, а другого не писал.

«Где,— думает,— матери столько денег взять, за меня заплатить. И то она тем больше жила, что я посылал ей. Если ей пятьсот рублей собрать, надо разориться вконец. Бог даст — и сам выберусь».

А сам все высматривает, выпытывает, как ему бежать. Ходит по аулу, насвистывает; а то сидит, что-нибудь рукодельничает, или из глины кукол лепит, или плетет плетенки из прутьев. А Жилин на всякое рукоделье мастер был.

Слепил он раз куклу, с носом, с руками, с ногами и в татарской рубахе, и поставил куклу на крышу.

Пошли татарки за водой. Хозяйская дочь Динка увидала куклу, позвала татарок. Составили кувшины, смотрят, смеются. Жилин снял куклу, подает им. Они смеются, а не смеют взять. Оставил он куклу, ушел в сарай и смотрит, что будет?

Подбежала Дина, оглянулась, схватила куклу и убежала.

Наутро смотрит, на зорьке Дина вышла на порог с куклой. А куклу уж лоскутками красными убрала и качает, как ребенка, сама по-своему прибаюкивает. Вышла старуха, забранилась за нее, выхватила куклу, разбила ее, услала куда-то Дину на работу.

Сделал Жилин другую куклу, еще лучше,— отдал Дине. Принесла раз Дина кувшинчик, поставила, села и смотрит на него, сама смеется, показывает на кувшин.

«Чего она радуется?» — думает Жилин. Взял кувшин, стал пить. Думает, вода, а там молоко. Выпил он молоко, «хорошо»,— говорит. Как взрадуется Дина!

— Хорошо, Иван, хорошо! — и вскочила, забила в ладоши, вырвала кувшин и убежала.

И с тех пор стала она ему каждый день, крадучи, молока носить. А то делают татары из козьего молока лепешки сырные и сушат их на крышах,— так она эти лепешки ему тайком принашивала. А то раз резал хозяин барана,— так она ему кусок баранины принесла в рукаве. Бросит и убежит.

Была раз гроза сильная, и дождь час целый как из ведра лил. И помутились все речки, где брод был, там на три аршина вода пошла, камни ворочает. Повсюду ручьи текут, гул стоит по горам. Вот как прошла гроза, везде по деревне ручьи бегут. Жилин выпросил у хозяина ножик, вырезал валик, дощечки, колесо оперил, а к колесу на двух концах кукол приделал.

Принесли ему девчонки лоскутков,— одел он кукол: одна — мужик, другая — баба; утвердил их, поставил колесо на ручей. Колесо вертится, а куколки прыгают.

Собралась вся деревня: мальчишки, девчонки, бабы; и татары пришли, языком щелкают:

— Ай, урус! ай, Иван!

Были у Абдула часы русские, сломанные. Позвал он Жилина, показывает, языком щелкает. Жилин говорит:

— Давай, починю.

Взял, разобрал ножичком, разложил; опять сладил, отдал. Идут часы.

Обрадовался хозяин, принес ему бешмет свой старый, весь в лохмотьях, подарил. Нечего делать, взял,— и то годится покрыться ночью.

С тех пор прошла про Жилина слава, что он мастер. Стали к нему из дальних деревень приезжать: кто замок на ружье или пистолет починить принесет, кто часы. Привез ему хозяин снасть; и щипчики, и буравчики, и подпилочек.

Заболел раз татарин, пришли к Жилину: «Поди, полечи». Жилин ничего не знает, как лечить. Пошел, посмотрел, думает: «Авось поздоровеет сам». Ушел в сарай, взял воды, песку, помешал. При татарах нашептал на воду, дал выпить. Выздоровел на его счастье татарин. Стал Жилин немножко понимать по-ихнему. И которые татары привыкли к нему,— когда нужно, кличут: «Иван, Иван!» — а которые все, как на зверя, косятся.

Красный татарин не любил Жилина. Как увидит, нахмурится и прочь отвернется либо обругает. Был еще у них старик. Жил он не в ауле, а приходил из-под горы. Видал его Жилин только, когда он в мечеть приходил богу молиться. Он был ростом маленький, на шапке у него белое полотенце обмотано, бородка и усы подстрижены,— белые, как пух; а лицо сморщенное в красное, как кирпич. Нос крючком, как у ястреба, а глаза серые, злые и зубов нет — только два клыка. Идет, бывало, в чалме своей, костылем подпирается, как волк, озирается. Как увидит Жилина, так захрапит и отвернется.

Пошел раз Жилин под гору — посмотреть, где живет старик. Сошел по дорожке, видит садик, ограда каменная; из-за ограды-черешни, шепталы и избушка с плоской крышкой. Подошел он ближе; видит — ульи стоят, плетенные из соломы, и пчелы летают, гудят. И старик стоит на коленочках, что-то хлопочет у улья. Поднялся Жилин повыше, посмотреть, и загремел колодкой. Старик оглянулся — как визгнет; выхватил из-за пояса пистолет, в Жилина выпалил. Чуть успел он за камень притулиться.

Пришел старик к хозяину жаловаться. Позвал хозяин Жилина, сам смеется и спрашивает:

— Зачем ты к старику ходил?

— Я,— говорит,— ему худого не сделал. Я хотел посмотреть, как он живет.

Передал хозяин. А старик злится, шипит, что-то лопочет, клыки свои выставил, махает руками на Жилина.

Жилин не понял всего; но понял, что старик велит хозяину убить русских, а не держать их в ауле. Ушел старик.

Стал Жилин спрашивать хозяина: что это за старик? Хозяин и говорит:

— Это большой человек! Он первый джигит был, он много русских побил, богатый был. У него было три жены и восемь сынов. Все жили в одной деревне. Пришли русские, разорили деревню и семь сыновей убили. Один сын остался и передался русским. Старик поехал и сам передался русским. Пожил у них три месяца, нашел там своего сына, сам убил его и бежал. С тех пор он бросил воевать, пошел в Мекку — богу молиться. От этого у него чалма. Кто в Мекке был, тот называется хаджи и чалму надевает. Не любит он вашего брата. Он велит тебя убить; да мне нельзя убить,— я за тебя деньги заплатил; да я тебя, Иван, полюбил; я тебя не то что убить, я бы тебя и выпускать не стал, кабы слова не дал. — Смеется, сам приговаривает по-русски: «твоя, Иван, хорош, моя, Абдул, хорош!»

4

Прожил так Жилин месяц. Днем ходит по аулу или рукодельничает, а как ночь придет, затихнет в ауле, так он у себя в сарае копает. Трудно было копать от камней, да он подпилком камни тер, и прокопал он под стеной дыру, что впору пролезть. «Только бы,— думает,— мне место хорошенько узнать, в какую сторону идти. Да не сказывают никто татары».

Вот он выбрал время, как хозяин уехал; пошел после обеда за аул на гору,— хотел оттуда место посмотреть. А когда хозяин уезжал, он приказал малому за Жилиным ходить, с глаз его не спускать. Бежит малый за Жилиным, кричит:

— Не ходи! Отец не велел. Сейчас народ позову!

Стал его Жилин уговаривать.

— Я,— говорит,— далеко не уйду,— только на ту гору поднимусь: мне траву нужно найти — ваш народ лечить. Пойдем со мной; я с колодкой не убегу. А тебе завтра лук сделаю и стрелы.

Уговорил малого, пошли. Смотреть на гору — не далеко, а с колодкой трудно; шел, шел, насилу взобрался. Сел Жилин, стал место разглядывать. На полдни, за горой, лощина, табун ходит, и аул другой в низочке виден. От аула другая гора — еще круче, а за той горой еще гора. Промеж гор лес синеется, а там еще горы всё выше и выше поднимаются. А выше всех — белые, как сахар, горы стоят под снегом. И одна снеговая гора выше других шапкой стоит. На восход и на закат — всё такие же горы; кое-где аулы дымятся в ущельях. «Ну,— думает,— это все ихняя сторона». Стал смотреть в русскую сторону: под ногами речка, аул свой, садики кругом. На речке, как куклы маленькие, видно,— бабы сидят, полоскают. За аулом, пониже, гора, и через нее еще две горы, по ним лес; а промеж двух гор синеется ровное место, а на ровном месте, далеко-далеко, точно дым стелется. Стал Жилин вспоминать, когда он в крепости дома жил, где солнце всходило и где заходило. Видит: так точно, в этой долине должна быть наша крепость. Туда, промеж этих двух гор, и бежать надо.

Стало солнышко закатываться. Стали снеговые горы из белых — алые; в черных горах потемнело; из лощин пар поднялся, и самая та долина, где крепость наша должна быть, как в огне загорелась от заката. Стал Жилин вглядываться,— маячит что-то в долине, точно дым из труб. И так и думается ему, что это самое — крепость русская.

Уж поздно стало. Слышно — мулла прокричал. Стадо гонят — коровы ревут. Малый все зовет: «Пойдем», а Жилину и уходить не хочется.

Вернулись они домой. «Ну,— думает Жилин,— теперь место знаю; надо бежать». Хотел он бежать в ту же ночь. Ночи были темные — ущерб месяца. На беду, к вечеру вернулись татары. Бывало, приезжают они — гонят с собою скотину и приезжают веселые. А на этот раз ничего не пригнали, а привезли на седле своего убитого татарина, брата рыжего. Приехали сердитые, собрались все хоронить. Вышел и Жилин посмотреть. Завернули мертвого в полотно, без гроба,

вынесли под чинары за деревню, положили на траву. Пришел мулла, собрались старики, полотенцами повязали шапки, разулись, сели рядком на пятки перед мертвым.

Спереди мулла, сзади три старика в чалмах, рядком, а сзади их еще татары. Сели, потупились и молчат. Долго молчали. Поднял голову мулла и говорит:

— Алла! (значит бог) — Сказал это одно слово, и опять потупились и долго молчали; сидят, не шевелятся. Опять поднял голову мулла:

— Алла!— и все проговорили: «Алла» — и опять замолчали. Мертвый лежит на траве, не шелохнется, и они сидят как мертвые. Не шевельнется ни один. Только слышно, на чинаре листочки от ветерка поворачиваются. Потом прочел мулла молитву, все встали, подняли мертвого на руки, понесли. Принесли к яме. Яма вырыта не простая, а подкопана под землю, как подвал. Взяли мертвого под мышки, да под лытки, перегнули, спустили полегонечку, подсунули сидьмя под землю, заправили ему руки на живот.

Притащил ногаец камышу зеленого, заклали камышом яму, живо засыпали землей, сровняли, а в головы к мертвецу камень стоймя поставили. Утоптали землю, сели опять рядком перед могилой. Долго молчали.

— Алла! Алла! Алла! — Вздохнули и встали.

Роздал рыжий денег старикам, потом встал, взял плеть, ударил себя три раза по лбу и пошел домой.

Наутро видит Жилин — ведет красный кобылу за деревню, а за ним трое татар идут. Вышли за деревню, снял рыжий бешмет, засучил рукава,— ручищи здоровые,— вынул кинжал, поточил на бруске. Задрали татары кобыле голову кверху, подошел рыжий, перерезал глотку, повалил кобылу и начал свежевать — кулачищами шкуру подпарывает. Пришли бабы, девки, стали мыть кишки и нутро. Разрубили потом кобылу, стащили в избу. И вся деревня собралась к рыжему поминать покойника.

Три дня ели кобылу, бузу пили, покойника поминали. Все татары дома были. На четвертый день, видит Жилин, в обед куда-то собираются. Привели лошадей, убрались и поехали человек 10, и красный поехал: только Абдул дома остался. Месяц только народился, ночи еще темные были.

«Ну,— думает Жилин,— нынче бежать надо», и говорит Костылину. А Костылин заробел.

— Да как же бежать? Мы и дороги не знаем.

— Я знаю дорогу.

— Да и не дойдем в ночь.

— А не дойдем — в лесу переночуем. Я вот лепешек набрал. Что ж ты будешь сидеть? Хорошо, пришлют денег, а то ведь и не соберут. А татары теперь злые — за то, что ихнего русские убили. Поговаривают — нас убить хотят.

Подумал, подумал Костылин.

— Ну, пойдем.

5

Полез Жилин в дыру, раскопал пошире, чтоб и Костылину пролезть, и сидят они — ждут, чтобы затихло в ауле.

Только затих народ в ауле, Жилин полез под стену, выбрался. Шепчет Костылину: «Полезай». Полез и Костылин, да зацепил камень ногой, загремел. А у хозяина сторожка была — пестрая собака, и злая-презлая; звали ее Уляшин. Жилин уже наперед прикормил ее. Услыхал Уляшин,— забрехал и кинулся, а за ним другие собаки. Жилин чуть свистнул, кинул лепешки кусок, Уляшин узнал, замахал хвостом и перестал брехать.

Хозяин услыхал, загайкал из сакли: «Гайть! Гайть! Уляшин!»

А Жилин за ушами почесывает Уляшина. Молчит собака, трется ему об ноги, хвостом махает.

Посидели они за углом. Затихло все; только слышно, овца перхает в закуте да низом вода по камушкам шумит. Темно; звезды высоко стоят на небе; над горой молодой месяц закраснелся, кверху рожками заходит. В лощинах туман, как молоко, белеется.

Поднялся Жилин, говорит товарищу: «Ну, брат, айда!»

Тронулись; только отошли, слышат — запел мулла на крыше: «Алла! Бесмилла! Ильрахман!» Значит — пойдет народ в мечеть. Сели опять, притаившись под стенкой. Долго сидели, дожидались, пока народ пройдет. Опять затихло.

— Ну, с богом! — Перекрестились, пошли. Прошли через двор под кручь к речке, перешли речку, пошли лощиной. Туман густой, да низом стоит, а над головой звезды виднешеньки. Жилин по звездам примечает, в какую сторону идти. В тумане свежо, идти легко, только сапоги неловки — стоптались. Жилин снял свои, бросил, пошел босиком. Попрыгивает с камушка на камушек да на звезды поглядывает. Стал Костылин отставать.

— Тише,— говорит,— иди: сапоги проклятые, все ноги стерли.

— Да ты сними, легче будет.

Пошел Костылин босиком — еще того хуже: изрезал все ноги по камням и все отстает. Жилин ему говорит:

— Ноги обдерешь — заживут, а догонят — убьют — хуже.

Костылин ничего не говорит, идет, покряхтывает. Шли они низом долго. Слышат — вправо собаки забрехали. Жилин остановился, осмотрелся, полез на гору, руками ощупал.

— Эх,— говорит,— ошиблись мы,— вправо забрали. Тут аул чужой, я его с горы видел; назад надо, да влево в гору. Тут лес должен быть.

А Костылин говорит:

— Подожди хоть немножко, дай вздохнуть,— у меня ноги в крови все.

— Э, брат, заживут; ты легче прыгай. Вот как!

И побежал Жилин назад, влево, в гору, в лес. Костылин все отстает и охает. Жилин шикнет-шикнет на него, а сам все идет.

Поднялись на гору. Так и есть — лес. Вошли в лес,— по колючкам изодрали все платье последнее. Напались на дорожку в лесу. Идут.

— Стой! — Затопало копытами по дороге. Остановились, слушают. Потопало, как лошадь, и остановилось.

Тронулись они — опять затопало. Они остановятся — и оно остановится. Подполз Жилин, смотрит на свет по дороге — стоит что-то. Лошадь не лошадь, и на лошади что-то чудное, на человека не похоже. Фыркнуло — слышит. «Что за чудо!» Свистнул Жилин потихоньку,— как шаркнет с дороги в лес и затрещало по лесу, точно буря летит, сучья ломает.

Костылин так и упал со страху. А Жилин смеется, говорит:

— Это олень. Слышишь — как рогами лес ломит? Мы его боимся, а он нас боится.

Пошли дальше. Уж высожары спускаться стали, до утра недалеко. А туда ли идут, нет ли,— не знают. Думается так Жилину, что по этой самой дороге его везли и что до своих — верст десять еще будет; а приметы верной нет, да и ночь — не разберешь. Вышли на полянку. Костылин сел и говорит:

— Как хочешь, а я не дойду,— у меня ноги не идут.

Стал его Жилин уговаривать.

— Нет,— говорит,— не дойду, не могу.

Рассердился Жилин, плюнул, обругал его.

— Так я же один уйду,— прощай!

Костылин вскочил, пошел. Прошли они версты четыре. Туман в лесу еще гуще сел, ничего не видать перед собой, и звезды уж чуть видны.

Вдруг слышат, впереди топает лошадь. Слышно — подковами за камни цепляется. Лег Жилин на брюхо, стал по земле слушать.

— Так и есть,— сюда, к нам конный едет.

Сбежали они с дороги, сели в кусты и ждут. Жилин

подполз к дороге, смотрит — верховой татарин едет, корову гонит, сам себе под нос мурлычет что-то. Проехал татарин. Жилин вернулся к Костылину.

— Ну, пронес бог,— вставай, пойдем.

Стал Костылин вставать и упал.

— Не могу,— ей-богу, не могу; сил моих нет.

Мужчина грузный, пухлый, запотел; да как обхватило его в лесу туманом холодным, да ноги ободраны,— он и рассолодел. Стал его Жилин силой поднимать. Как закричит Костылин:

— Ой, больно! Жилин так и обмер.

— Что кричишь? Ведь татарин близко — услышит.— А сам думает: «Он и вправду расслаб; что мне с ним делать? Бросить товарища не годится».

— Ну,— говорит,— вставай, садись на закорки, снегу, коли уж идти не можешь.

Подсадил на себя Костылина, подхватил руками под ляжки, вышел на дорогу, поволок.

— Только,— говорит,— не дави ты меня руками за глотку, ради Христа. За плечи держись.

Тяжело Жилину,— ноги тоже в крови и уморился. Нагнется, подправит, подкинет, чтоб повыше сидел на нем Костылин, тащит его по дороге.

Видно, услыхал татарин, как Костылин закричал. Слышит Жилин, едет кто-то сзади, кличет по-своему. Бросился Жилин в кусты. Татарин выхватил ружье, выпалил,— не попал, завизжал по-своему и поскакал прочь по дороге.

— Ну,— говорит Жилин,— пропали, брат! Он, собака, сейчас соберет татар за нами в погоню. Коли не уйдем версты три,— пропали. — А сам думает на Костылина: «И черт меня дернул колоду эту с собой брать. Один я бы давно ушел».

Костылин говорит: — Иди один, за что тебе из-за меня пропадать.

— Нет, не пойду, не годится товарища бросать. Подхватил опять на плечи, попер. Прошел он так с

версту. Все лес идет и не видать выхода. А туман уж расходиться стал, и как будто тучки заходить стали, не видать уж звезд. Измучился Жилин.

Пришел, у дороги родничок, камнем обделан. Остановился, ссадил Костылина.

— Дай,— говорит,— отдохну, напьюсь. Лепешек поедим. Должно быть, недалеко.

Только прилег он пить, слышит — затопало сзади. Опять кинулись вправо, в кусты, под кручь, и легли.

Слышат голоса татарские; остановились татары на том самом месте, где они с дороги свернули. Поговорили, потом зауськали, как собак притравляют. Слышат — трещит что-то по кустам, прямо к ним собака чужая чья-то. Остановилась, забрехала.

Лезут и татары — тоже чужие; схватили их, посвязали, посадили на лошадей, повезли.

Проехали версты три,— встречает их Абдул-хозяин с двумя татарами. Поговорил что-то с татарами, пересадили на своих лошадей, повезли назад в аул.

Абдул уж не смеется и ни слова не говорит с ними.

Привезли на рассвете в аул, посадили на улице. Сбежались ребята. Камнями, плетками бьют их, визжат.

Собрались татары в кружок, и старик из-под горы пришел. Стали говорить. Слышит Жилин, что судят про них, что с ними делать. Одни говорят: надо их дальше в горы услать, а старик говорит: «надо убить». Абдул спорит, говорит: «я за них деньги отдал, я за них выкуп возьму». А старик говорит: «ничего они не заплатят, только беды наделают. И грех русских кормить. Убить,— и кончено».

Разошлись. Подошел хозяин к Жилину, стал ему говорить:

— Если,— говорит,— мне не пришлют за вас выкуп, я через две недели вас запорю. А если затеешь опять бежать,— я тебя как собаку убью. Пиши письмо, хорошенько пиши!

Принесли им бумаги, написали они письма. Набили на них колодки, отвели за мечеть. Там яма была аршин пяти, и спустили их в эту яму.

6

Житье им стало совсем дурное. Колодки не снимали и не выпускали на вольный свет. Кидали им туда тесто непеченое, как собакам, да в кувшине воду спускали. Вонь в яме, духота, мокрота. Костылин совсем разболелся, распух, и ломота во всем теле стала; и все стонет или спит. И Жилин приуныл, видит — дело плохо. И не знает, как выбраться.

Начал он было подкапываться, да землю некуда кидать; увидал хозяин, пригрозил убить.

Сидит он раз в яме на корточках, думает об вольном житье, и скучно ему. Вдруг прямо ему на коленки лепешка упала, другая, и черешни посыпались. Поглядел кверху, а там Дина. Поглядела на него, посмеялась и убежала. Жилин и думает: «не поможет ли Дина?»

Расчистил он в яме местечко, наковырял глины, стал лепить кукол. Наделал людей, лошадей, собак, думает: «как придет Дина, брошу ей».

Только на другой день нет Дины. А слышит Жилин — затопали лошади, проехали какие-то, и собрались татары у мечети, спорят, кричат и поминают про русских. И слышит голос старика. Хорошенько не разобрал он, а догадывается, что русские близко подошли, и боятся татары, как бы в аул не зашли, и не знают, что с пленными делать.

Поговорили и ушли. Вдруг слышит — зашуршало что-то наверху. Видит: Дина присела на корточки, коленки выше головы торчат, свесилась, монисты висят, болтаются над ямой. Глазенки так и блестят, как звездочки; вынула из рукава две сырные лепешки, бросила ему. Жилин взял и говорит:

— Что давно не бывала? А я тебе игрушек наделал. На вот! — Стал ей швырять по одной. А она головой мотает, не смотрит.

— Не надо,— говорит. Помолчала, посидела и говорит: — Иван! тебя убить хотят. — Сама себе рукой на шею показывает.

— Кто убить хочет?

— Отец, ему старики велят. А мне тебя жалко.

Жилин и говорит:

— А коли тебе меня жалко, так ты мне палку длинную принеси.

Она головой мотает,— что «нельзя». Он сложил руки, молится ей:

— Дина, пожалуйста! Динушка, принеси!

— Нельзя,— говорит,— увидят, все дома,— и ушла.

Вот сидит вечером Жилин и думает: «что будет?» Все

поглядывает вверх. Звезды видны, а месяц еще не всходил. Мулла прокричал, затихло все. Стал уже Жилин дремать, думает: «побоится девка».

Вдруг на голову ему глина посыпалась; глянул кверху — шест длинный в тот край ямы тыкается. Потыкался, спускаться стал, ползет в яму. Обрадовался Жилин, схватил рукой, спустил — шест здоровый. Он еще прежде этот шест на хозяйской крыше видел.

Поглядел вверх,— звезды высоко на небе блестят; и над самою ямой, как у кошки, у Дины глаза в темноте светятся. Нагнулась она лицом на край ямы и шепчет: «Иван, Иван!» — а сама руками у лица все машет,— что «тише, мол».

— Что? — говорит Жилин.

— Уехали все, только двое дома.

Жилин и говорит:

— Ну, Костылин, пойдем, попытаемся последний раз; я тебя подсажу.

Костылин и слушать не хочет.

— Нет,— говорит,— уж мне, видно, отсюда не выйти, Куда я пойду, когда и поворотиться нет сил?

— Ну, так прощай,— не поминай лихом. — Поцеловался с Костылиным.

Ухватился за шест, велел Дине держать, полез. Раза два он обрывался,— колодка мешала. Поддержал его Костылин,— выбрался кое-как наверх. Дина его тянет ручонками за рубаху, изо всех сил, сама смеется.

Взял Жилин шест и говорит:

— Снеси на место, Дина, а то хватятся,— прибьют тебя.

Потащила она шест, а Жилин под гору пошел. Слез под кручь, взял камень вострый, стал замок с колодки выворачивать. А замок крепкий,— никак не собьет, да и неловко. Слышит, бежит кто-то с горы, легко попрыгивает. Думает: «верно, опять Дина». Прибежала Дина, взяла камень и говорит:

— Дай я.

Села на коленочки, начала выворачивать. Да ручонки тонкие, как прутики,— ничего силы нет. Бросила камень, заплакала. Принялся опять Жилин за замок, а Дина села подле него на корточках, за плечо его держит. Оглянулся Жилин, видит — налево за горой зарево красное загорелось, месяц встает. «Ну,— думает,— до месяца надо лощину пройти, до лесу добраться». Поднялся, бросил камень. Хоть в колодке,— да надо идти.

— Прощай,— говорит,— Динушка. Век тебя помнить буду.

Ухватилась за него Дина: шарит по нем руками, ищет — куда бы лепешки ему засунуть. Взял он лепешки.

— Спасибо,— говорит,— умница. Кто тебе без меня кукол делать будет? — И погладил ее по голове.

Как заплачет Дина, закрылась руками, побежала на гору, как козочка прыгает. Только в темноте слышно — монисты в косе по спине побрякивают.

Перекрестился Жилин, подхватил рукой замок на колодке, чтобы не бренчал, пошел по дороге,— ногу волочит, а сам все на зарево поглядывает, где месяц встает. Дорогу он узнал. Прямиком идти верст восемь. Только бы до лесу дойти прежде, чем месяц совсем выйдет. Перешел он речку,— побелел уже свет за горой. Пошел лощиной, идет, сам поглядывает: не видать еще месяца. Уж зарево посветлело и с одной стороны лощины все светлее, светлее становится. Ползет под гору тень, все к нему приближается.

Идет Жилин, все тени держится. Он спешит, а месяц еще скорее выбирается; уж и направо засветились макушки. Стал подходить к лесу, выбрался месяц из-за гор,— бело, светло совсем, как днем. На деревах все листочки видны. Тихо, светло по горам, как вымерло все. Только слышно — внизу речка журчит.

Дошел до лесу — никто не попался. Выбрал Жилин местечко в лесу потемнее, сел отдыхать.

Отдохнул, лепешку съел. Нашел камень, принялся опять колодку сбивать. Все руки избил, а не сбил. Поднялся, пошел по дороге. Прошел с версту, выбился из сил,— ноги ломит. Ступит шагов десять и остановится. «Нечего делать,— думает,— буду тащиться, пока сила есть. А если сесть, так и не встану. До крепости мне не дойти, а как рассветет,— лягу в лесу, переднюю, а ночью опять пойду».

Всю ночь шел. Только попались два татарина верхами, да Жилин издалека их услыхал, схоронился за дерево.

Уж стал месяц бледнеть, роса пала, близко к свету, а Жилин до края леса не дошел. «Ну,— думает,— еще тридцать шагов пройду, сверну в лес и сяду». Прошел тридцать шагов, видит — лес кончается. Вышел на край — совсем светло, как на ладонке перед ним степь и крепость, и налево, близехонько под горой, огни горят, тухнут, дым стелется и люди у костров.

Вгляделся — видит: ружья блестят, казаки, солдаты.

Обрадовался Жилин, собрался с последними силами, пошел под гору. А сам думает: «избави бог, тут, в чистом поле, увидит конный татарин; хоть близко, а не уйдешь».

Только подумал — глядъ: налево, на бугре, стоят трое татар, десятины на две. Увидали его,— пустились к нему. Так сердце у него и оборвалось. Замахал руками, закричал что было духу своим:

— Братцы! выручай! братцы!

Услыхали наши,— выскочили казаки верховые. Пустились к нему — наперерез татарам.

Казакам далеко, а татарам близко. Да уж и Жилин собрался с последней силой, подхватил рукой колодку, бежит к казакам, а сам себя не помнит, крестится и кричит:

— Братцы! братцы! братцы!

Казаков человек пятнадцать было.

Испугались татары,— не доезжаючи, стали останавливаться. И подбежал Жилин к казакам.

Окружили его казаки, спрашивают: «кто он, что за человек, откуда?» А Жилин сам себя не помнит, плачет и приговаривает:

— Братцы! Братцы!

Выбежали солдаты, обступили Жилина; кто ему хлеба, кто каши, кто водки, кто шинелью прикрывает, кто колодку разбивает.

Узнали его офицеры, повезли в крепость. Обрадовались солдаты, товарищи собрались к Жилину.

Рассказал Жилин, как с ним все дело было, и говорит:

— Вот я и домой съездил, женился! Нет, уж, видно, не судьба моя.

И остался служить на Кавказе. А Костылина только еще через месяц выкупили за пять тысяч. Еле живого привезли

(1872)

---

[1] Аул — татарская деревня. (Примеч. Л. Н. Толстого.)

МИКАИЛ МУШФИГ
“Мама”

Я позвал тебя – и душа занялась.
– Мама, – прошептал, чуть не плача,
– Мама, мама, твой облик от нас
Уплывает, в тумане маяча...

Мама! Как я о маме в стихах
Расскажу? Не смогу я, не смею...
Все признанья заветные – прах,
И тускнеют слова рядом с нею.

Нет на свете красивой такой,
Прелесть матери неповторима.
Слово – сердце. За каждой строкой
Только память, как облачко дыма.

Может, надо их вырвать и сжечь?
Давит память на сердце живое,
Но коснусь – и звучит её речь,
И больнее становится вдвое.

Голос мамы звучит, как свирель,
Даже стих – только эхо той песни,
Что певала она, мою колыбель
Тихо трогая в спаленке тесной

О Мушфиг, ты уже не помнишь её.
Ты на мать не успел наглядеться,
Шло без матери детство твоё,
Сиротливое, бедное детство...

Далеко улетели года,
И сиротская грусть отлетела.
Жизнь полна, и походка тверда,
Есть и цель, и любимое дело.

Ты – святыня, которой живу!
Стала мне и стезёй[1], и мечтою,
И раскрыла ты мне наяву
Небо счастья – всегда золотое.

(Перевод М. Кондински)

МИР ДЖАЛАЛ ПАШАЕВ
Правила приличия

Мой названый брат Бахлул решил жениться.

- Что ж, Бахлул - человек самостоятельный, работает продавцом в кооперативном магазине; отговаривать его от такого поступка было бы делом неразумным.

Мать Бахлула, которую я с детства называл тетей, хотя она ни в каком родстве ни со мною, ни с моими отцом-матерью не состояла, пригласила меня на обручение.

Тетя тоже работала в каком-то магазине.

- Приходи, деточка, настанет час, когда и ты соединишь судьбу с девушкой чистой, как горный родник, прекрасной, как ангел. Значит, и мы придем ответно на твою свадьбу.

Я смутился.

- Знаю, ты парень стеснительный, - продолжала тетя. - Мой Бахлул был таким же, когда приехал из деревни, но в торговой сети обтесался и теперь выступает на собраниях с речами.

Я поблагодарил тетю за лестное приглашение.

Утром в воскресенье я вытащил брюки из-под матраца, куда аккуратно уложил их на ночь, чтоб хоть как-то выгладить, провести острую складку. У соседа по комнате взял белую сорочку. Приятель Ахмед дал мне серебряные запонки и галстук. Словом, через полчаса студенты заверили, что у меня вид солидного свадебного гостя.

В доме названого моего брата Бахлула кипела праздничная суета: кололи дрова, из фаэтона выгружали продукты и бутылки с напитками всевозможного цвета и всевозможной крепости; стряпухи щипали кур, чистили рис для плова, кололи сахар на мелкие кусочки для традиционного чая.

Тетя, оглядев меня с ног до головы, поморщилась и быстро увела в комнату.

- Деточка, ты не в деревне и не в студенческом общежитии, - она тяжело вздохнула. - Бедняга, что ты видел на свете? Зубришь свои учебники. Вот мой Бахлул был таким же, но получил в торговой сети закалку, и теперь его справедливо считают интеллигентом.

Тетя обмотала мне шею пестрым шарфом Бахлула, велела снять разношенные ботинки и надеть остроносые лакированные туфли Бахлула. Перепоясала меня украшенным серебряными бляхами ремнем Бахлула. Вложила в нагрудный карман пиджака сложенный треугольником шелковый платочек Бахлула.

- Деточка, - сказала тетя, - на обручение придут солидные гости из торговой сети. Не ударь лицом в грязь! Соблюдай правила приличия. Во-первых, нельзя за праздничным столом зевать, рыгать, потягиваться, чавкать; во-вторых, не хохочи во все горло, но смейся, а еще лучше - мягко улыбайся; в-третьих, рюмку держи двумя пальчиками, не стучи ложкой о тарелку, не двигай со скрипом стулом... Запомнил?

- Запомнил, - буркнул я, чувствуя себя так, как чувствовал в прошлом году, когда получил по сопромату двойку и был лишен стипендии. - А где жених?

Оказалось, что Бахлул еще не вернулся из бани.

Тем временем зал наполнился гостями. Подали в грушевидных стаканчиках крепкий душистый чай с вареньем. Я жался в сторонку... Музыканты заиграли мугам, - на улице у открытых окон собрались слушатели.

- Торжество! - с восхищением восклицала тетя.

В этот момент гости зашептались:

- Бек!.. Прибыл бек! Да благословит его вседержитель.

В деревне жениха на пирах тоже называли беком. Бахлул с распаренным лицом вошел в зал, приветствуемый радостными возгласами.

- Ханкиши! - строго позвал он.

Вскочил мужчина с длинным узким, похожим на пятку, подбородком; тетя объяснила, что он кладовщик в том самом магазине, где жених работает продавцом.

- Ханкиши, тебе поручается вести меджлис.

В деревне тоже называют свадебный пир или церемонию обручения меджлисом.

- Слушаюсь, ясновельможный бек! - Ханкиши поклонился. - Прежде всего, почему дамы сидят отдельно от мужчин? Что за религиозные предрассудки!.. Здесь собралась интеллигентная публика, позабывшая давным-давно о шариате.

После долгих упрашиваний, препирательств дамы расселись вперемежку с мужчинами; рядом со мною оказалась тетя.

Начались бесконечные тосты; пили не рюмками, а стаканами.

- Тетя, а стакан тоже надо держать двумя пальчиками? - тихо спросил я.

- Тш-шш! - Тетя болезненно поморщилась. После третьего стакана я заметил, что у мужчин блестят носы, а у женщин кольца на пальцах, у мужчин краснеют шеи, а у женщин ярко накрашенные губы.

Стаканы с водкой, однако, все гости, и мужчины и женщины, плотно зажимали в кулаке.

- Тетя, а почему вон тот лысый так громко хохочет? Это же неприлично.

- Тш-шш, это директор двадцать седьмого магазина, деточка.

Толстая пожилая дама, одетая, как семнадцатилетняя девушка, пустилась в пляс, она топталась на одном месте, подпрыгивала, а на столах дребезжали бокалы,стаканы.

- Тетя, но ведь старушкам неприлично наряжаться так пестро и ярко, - заметил я.

- Тш-шш, это кассирша из двадцать первого магазина, деточка, - всепрощающе улыбнулась тетя.

Принесли в огромных блюдах плов. Это были в буквальном смысле слова сугробы плова, - иначе сказать не могу. Гости, смачно чавкая, накинулись на лакомое кушанье, - как говорится, за ушами пищало... Тетя побледнела: ясно, что плова не хватит.

А развязный Ханкиши успокаивал:

- Не стесняйтесь, кушайте вволю. На здоровье!.. Жених поднялся, произнес вдохновенный тост:

- Говорят, что я не ученый. Действительно, я в университетах не обучался. Здесь мои сослуживцы. Они меня поймут... Скажем, магазинная касса... Подойди-ка к ней с университетским дипломом!

Громовые рукоплескания, нестройные, но пылкие возгласы.

- Без кассы мир - не мир, божий свет - не свет, жизнь - не жизнь,- напористо продолжал Бахлул.- Выпьем за нашу благодетельницу, за нашу великодушную спасительницу- за магазинную кассу!

Предложение Бахлула было принято гостями с неподдельным воодушевлением.

В глазах тети появилось мечтательное выражение.

После окончания меджлиса я аккуратно снял шарф Бахлула, туфли Бахлула, поясной ремень Бахлула, вынул из кармашка пиджака платочек Бахлула.

- Деточка, - остановила меня тетя, - ты свой человек, мы тебя считаем родным, не секретничаем... Полюбуйся же подарками жениху, порадуйся с нами.

В соседней комнате на столе, на подоконниках, на кушетке, на полу навалом лежали чулки, шали, серебряные ложки и вилки, коробки с духами и пудрой, фарфоровые сервизы.

Мне почудилось, что я попал в филиал магазина. Тетя откладывала в сторону вещи одну за другой, внимательно разглядывала, гладила, а ковровую шаль даже попробовала зубами.

- Эту шаль принесла жена Мамеда, - строгим тоном сказала тетя. - Набор серебряных ложек и вилок - подношение Мины-ханум. Мир праху ее родителей!.. Коробка контрабандных парижских духов - дар Мешади Рагима. Уважительный товарищ, из сорок восьмого магазина. Подарок вполне достоин его личности.

Вошел пошатываясь, с завыванием зевая, бек.

- Полдюжины носовых платков от твоего друга Эйюба. - Голос тети металлически зазвенел.

- В могилу такого друга,- вынес безоговорочный приговор Бахлул. - Как не стыдно ему!

- А носки от Гамзат, -тетя показала пару шерстяных, домашней вязки носков.

- От кого?

- От жены Мирсаада - Гамзат.

- Черти свинячьи! Поговорю в отделе кадров. Позорят нашу торговую сеть, - медленно выговаривая слова, сказал с отвращением бек. - А ведь Мирсааду доверен весь мясо-молочный отдел.

- О! - воскликнула потрясенная тетя.

Теперь вы понимаете, почему я с тех пор никогда не хожу на свадьбы.

И свою сыграл тайком, - в деревне, у родителей моей милой Фатьмы-ханум.

Сирота

В наш город в годы войны пришел с Запада эшелон с беспризорными детьми, а точнее - с сиротами.

Комендант дома, вдова фронтовика, тоже обремененная сиротами, попросила меня:

- Муэллим, приютите на недельку, пока детский дом не отремонтировали, мальчика. Родители его погибли от вражеской бомбы.

Разумеется, я согласился.

И вечером к нам привели большеглазого, тоненького, как струна, мальчика лет шести. Он все время ежился, словно ему было холодно.

Я взял его за руку и повел к столу. Жили мы, конечно, в ту пору скудно, но ухитрились приготовить нашему маленькому гостю лакомые яства: чем богаты, тем и рады... Жена, мои детишки настойчиво потчевали мальчика.

- Не стесняйся, милый, - уговаривал я. - Пообедаешь, пойдешь гулять.

Мальчик сосредоточенно смотрел в тарелку и не шелохнулся.

Я сделал знак, и жена увела детей из комнаты.

В горле мальчика клубился комочек, он сидел неподвижно, не поднимая глаз.

Маленький гость напоминал необыкновенную, полную тоски, горя, книгу, к которой боязно прикоснуться, но которую я обязан прочитать до последней строки.

- Кушай, кушай, все уже прошло, - сказал я. Как я ошибался! Ничего не прошло...

- Дядя, можно мне сначала поплакать, - с усилием сказал мальчик.

Стон душил меня, но я сдержался, неслыханным напряжением воли заставил себя ответить твердо:

- Можно.

Жена, дети, я забились на кухню, а в столовой плакал мальчик, плакал беззвучно, словно уткнувшись лицом в подушку своей детской кроватки, содрогаясь худеньким телом.

В этот день я понял, что такое война.

МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ЛЕРМОНТОВ

"Бородино"

– Скажи-ка, дядя, ведь не даром
Москва, спаленная пожаром,
Французу отдана?
Ведь были ж схватки боевые,
Да, говорят, еще какие!
Недаром помнит вся Россия
Про день Бородина!

— Да, были люди в наше время,
Не то, что нынешнее племя:
Богатыри — не вы!
Плохая им досталась доля:
Немногие вернулись с поля...
Не будь на то господня воля,
Не отдали б Москвы!

Мы долго молча отступали,
Досадно было, боя ждали,
Ворчали старики:
«Что ж мы? на зимние квартиры?
Не смеют, что ли, командиры
Чужие изорвать мундиры
О русские штыки?»

И вот нашли большое поле:
Есть разгуляться где на воле!
Построили редут.
У наших ушки на макушке!
Чуть утро осветило пушки
И леса синие верхушки —
Французы тут как тут.

Забил заряд я в пушку туго
И думал: угощу я друга!
Постой-ка, брат мусью!
Что тут хитрить, пожалуй к бою;
Уж мы пойдем ломить стеною,
Уж постоим мы головою
За родину свою!

Два дня мы были в перестрелке.
Что толку в этакой безделке?
Мы ждали третий день.
Повсюду стали слышны речи:
«Пора добраться до картечи!»
И вот на поле грозной сечи

Ночная пала тень.

Прилёг вздремнуть я у лафета,
И слышно было до рассвета,
Как ликовал француз.
Но тих был наш бивак открытый:
Кто кивер чистил весь избитый,
Кто штык точил, ворча сердито,
Кусая длинный ус.

И только небо засветилось,
Все шумно вдруг зашевелилось,
Сверкнул за строем строй.
Полковник наш рождён был хватом:
Слуга царю, отец солдатам...
Да, жаль его: сражён булатом,
Он спит в земле сырой.

И молвил он, сверкнув очами:
«Ребята! не Москва ль за нами?
Умрёмте ж под Москвой,
Как наши братья умирали!»
И умереть мы обещали,
И клятву верности сдержали
Мы в Бородинский бой.

Ну ж был денек! Сквозь дым летучий
Французы двинулись, как тучи,
И всё на наш редут.
Уланы с пестрыми значками,
Драгуны с конскими хвостами,
Все промелькнули перед нам,
Все побывали тут.

Вам не видать таких сражений!
Носились знамена, как тени,
В дыму огонь блестел,
Звучал булат, картечь визжала,
Рука бойцов колоть устала,
И ядрам пролетать мешала
Гора кровавых тел.

Изведал враг в тот день немало,
Что значит русский бой удалый,
Наш рукопашный бой!..
Земля тряслась — как наши груди;
Смешались в кучу кони, люди,
И залпы тысячи орудий
Слились в протяжный вой...

Вот смерклось. Были все готовы
Заутра бой затеять новый
И до конца стоять...
Вот затрещали барабаны —
И отступили басурманы.
Тогда считать мы стали раны,
Товарищей считать.

Да, были люди в наше время,
Могучее, лихое племя:
Богатыри — не вы.
Плохая им досталась доля:
Немногие вернулись с поля.
Когда б на то не Божья воля,
Не отдали б Москвы!

(1837)

К*
(Я не унижусь пред тобою…)

Стихотворение обращено к Н. Ф. Ивановой.

Я не унижусь пред тобою;
Ни твой привет, ни твой укор
Не властны над моей душою.
Знай: мы чужие с этих пор.
Ты позабыла: я свободы
Для заблужденья не отдам;
И так пожертвовал я годы
Твоей улыбке и глазам,
И так я слишком долго видел
В тебе надежду юных дней
И целый мир возненавидел,
Чтобы тебя любить сильней.
Как знать, быть может, те мгновенья,
Что протекли у ног твоих,
Я отнимал у вдохновенья!
А чем ты заменила их?
Быть может, мыслию небесной
И силой духа убеждён,
Я дал бы миру дар чудесный,
А мне за то бессмертье он?
Зачем так нежно обещала
Ты заменить его венец,
Зачем ты не была сначала,
Какою стала наконец!
Я горд!.. Прости! Люби другого,
Мечтай любовь найти в другом;
Чего б то ни было земного
Я не соделаюсь рабом.
К чужим горам под небо юга

Я удалюся, может быть;
Но слишком знаем мы друг друга,
Чтобы друг друга позабыть.
Отныне стану наслаждаться
И в страсти стану клясться всем;
Со всеми буду я смеяться,
А плакать не хочу ни с кем;
Начну обманывать безбожно,
Чтоб не любить, как я любил;
Иль женщин уважать возможно,
Когда мне ангел изменил?
Я был готов на смерть и муку
И целый мир на битву звать,
Чтобы твою младую руку –
Безумец! – лишний раз пожать!
Не знав коварную измену,
Тебе я душу отдавал;
Такой души ты знала ль цену?
Ты знала – я тебя не знал!

(1832)

«Родина»

Люблю отчизну я, но странною любовью!
Не победит ее рассудок мой.
Ни слава, купленная кровью,
Ни полный гордого доверия покой,
Ни темной старины заветные преданья
Не шевелят во мне отрадного мечтанья,
Но я люблю — за что, не знаю сам —
Ее степей холодное молчанье,
Ее лесов безбрежных колыханье,
Разливы рек ее, подобные морям;
Проселочным путем люблю скакать в телеге
И, взором медленным пронзая ночи тень,
Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге,
Дрожащие огни печальных деревень.
Люблю дымок спаленной жнивы,
В степи ночующий обоз
И на холме средь желтой нивы
Чету белеющих берез.
С отрадой, многим незнакомой,
Я вижу полное гумно,
Избу, покрытую соломой,
С резными ставнями окно;
И в праздник, вечером росистым,
Смотреть до полночи готов
На пляску с топаньем и свистом
Под говор пьяных мужичков

(1841)

«Беглец»

Горская легенда

Гарун бежал быстрее лани,
Быстрей, чем заяц от орла;
Бежал он в страхе с поля брани,
Где кровь черкесская текла;
Отец и два родные брата
За честь и вольность там легли,
И под пятой у супостата
Лежат их головы в пыли.
Их кровь течет и просит мщенья,
Гарун забыл свой долг и стыд;
Он растерял в пылу сраженья
Винтовку, шашку — и бежит! —
И скрылся день; клубясь, туманы
Одели темные поляны
Широкой белой пеленой;
Пахнуло холодом с востока,
И над пустынею пророка
Встал тихо месяц золотой…
Усталый, жаждою томимый,
С лица стирая кровь и пот,
Гарун меж скал аул родимый
При лунном свете узнает;
Подкрался он, никем не зримый…
Кругом молчанье и покой,
С кровавой битвы невредимый
Лишь он один пришел домой.
И к сакле он спешит знакомой,
Там блещет свет, хозяин дома;
Скрепясь душой как только мог,
Гарун ступил через порог;
Селима звал он прежде другом,
Селим пришельца не узнал;
На ложе, мучимый недугом, —
Один, — он молча умирал…
«Велик аллах! от злой отравы
Он светлым ангелам своим
Велел беречь тебя для славы!»
— «Что нового?» — спросил Селим,
Подняв слабеющие вежды,
И взор блеснул огнем надежды!..
И он привстал, и кровь бойца
Вновь разыгралась в час конца.
«Два дня мы бились в теснине;
Отец мой пал, и братья с ним;
И скрылся я один в пустыне,
Как зверь преследуем, гоним,
С окровавленными ногами

От острых камней и кустов,
Я шел безвестными тропами
По следу вепрей и волков.
Черкесы гибнут — враг повсюду.
Прими меня, мой старый друг;
И вот пророк! твоих услуг
Я до могилы не забуду!..»
И умирающий в ответ:
«Ступай — достоин ты презренья.
Ни крова, ни благословенья
Здесь у меня для труса нет!..»
Стыда и тайной муки полный,
Без гнева вытерпев упрек,
Ступил опять Гарун безмолвный
За неприветливый порог.
И, саклю новую минуя,
На миг остановился он,
И прежних дней летучий сон
Вдруг обдал жаром поцелуя
Его холодное чело.
И стало сладко и светло
Его душе; во мраке ночи,
Казалось, пламенные очи
Блеснули ласково пред ним,
И он подумал: я любим,
Она лишь мной живет и дышит…
И хочет он взойти — и слышит,
И слышит песню старины…
И стал Гарун бледней луны:
Месяц плывет
Тих и спокоен,
А юноша воин
На битву идет.
Ружье заряжает джигит,
А дева ему говорит:
Мой милый, смелее
Вверяйся ты року,
Молися востоку,
Будь верен пророку,
Будь славе вернее.
Своим изменивший
Изменой кровавой,
Врага не сразивши,
Погибнет без славы,
Дожди его ран не обмоют,
И звери костей не зароют.
Месяц плывет
И тих и спокоен,
А юноша воин
На битву идет.
Главой поникнув, с быстротою

Гарун свой продолжает путь,
И крупная слеза порою
С ресницы падает на грудь…
Но вот от бури наклоненный
Пред ним родной белеет дом;
Надеждой снова ободренный,
Гарун стучится под окном.
Там, верно, теплые молитвы
Восходят к небу за него,
Старуха мать ждет сына с битвы,
Но ждет его не одного!..
«Мать, отвори! я странник бедный,
Я твой Гарун! твой младший сын;
Сквозь пули русские безвредно
Пришел к тебе!»
— «Один?»
— «Один!..»
— «А где отец и братья?»
— «Пали!
Пророк их смерть благословил,
И ангелы их души взяли».
— «Ты отомстил?»
— «Не отомстил…
Но я стрелой пустился в горы,
Оставил меч в чужом краю,
Чтобы твои утешить взоры
И утереть слезу твою…»
— «Молчи, молчи! гяур лукавый,
Ты умереть не мог со славой,
Так удались, живи один.
Твоим стыдом, беглец свободы,
Не омрачу я стары годы,
Ты раб и трус — и мне не сын!..»
Умолкло слово отверженья,
И всё кругом объято сном.
Проклятья, стоны и моленья
Звучали долго под окном;
И наконец удар кинжала
Пресек несчастного позор…
И мать поутру увидала…
И хладно отвернула взор.
И труп, от праведных изгнанный,
Никто к кладбищу не отнес,
И кровь с его глубокой раны
Лизал, рыча, домашний пес;
Ребята малые ругались
Над хладным телом мертвеца,
В преданьях вольности остались
Позор и гибель беглеца.
Душа его от глаз пророка
Со страхом удалилась прочь;

И тень его в горах востока
Поныне бродит в темну ночь,
И под окном поутру рано
Он в сакли просится, стуча,
Но, внемля громкий стих Корана,
Бежит опять под сень тумана,
Как прежде бегал от меча.

(1838)

МУХАММЕД ФИЗУЛИ
«Я скован, я пленён…»

Я скован, я пленён, с тех пор как увидал тебя.
Губ ослепительный цветок так украшал тебя!

Я жизнь на маленькой свече без колебаний сжёг.
С душой своею до небес я поднимал тебя.

Я сердце вымою в слезах, я не забыл тот день —
В халате алом ты была, и Рахш промчал тебя.

Всегда без устали меня терзает твой кинжал.
Раскрылось сердце, как дворец! О, как я ждал тебя!

Всё сердце стрелами полно, иначе бы оно
От горечи разорвалось! О, как я звал тебя!

Тогда бы я свободен был. Но в яму вновь попал,
Увидев ямочки твои. А так желал тебя!

О Физули, ты всё скрывал, но ворот разодрал,
И, душу увидав твою, Аллах узнал тебя.

НИГЯР РАФИБЕЙЛИ

"Утро"

Утро. Со ступени на ступень
Девушка спускается с кувшином,
И мечта, как вспугнутый олень,
Мчится ввысь к защитницам-вершинам,
Убегая от зимы к весне
По скалистой, звонкой крутизне.
Вновь сосульки – ледяные свечи
Замерцали над моим окном.
В доме ныне топятся все печи,
В поле свищет ветер-нелюдим.
Нет давно в саду листвы весёлой,
Солнце грустно на закат идёт.
Смотрит сизый голубь с ветки голой,
Где б ему спастись от непогод.
Где же, под каким же небосводом
Отыскать гнездовье для мечты?
Будто бы опущенные в воду,
Звёзды молчаливы и желты.
Ночью кажется, что мир навеки
Распростился с горем в тишине.
Мысли устремляются, как реки,
Мчась из края в край по всей стране,
Чтобы утром слиться вновь с весною,
Потому что счастье с ней одною.

(Перевод В. Кафарова)

О.ГЕНРИ
«Последний лист»

В небольшом квартале к западу от Вашингтон-сквера улицы перепутались и переломались в короткие полоски, именуемые проездами. Эти проезды образуют странные углы и кривые линии.

Студия Сью и Джонси помещалась наверху трёхэтажного кирпичного дома. Джонси — уменьшительное от Джоанны. Одна приехала из штата Мэйн, другая из Калифорнии. Они познакомились за столиком одного ресторанчика на Вольмой улице и нашли, что их взгляды на искусство, цикорный салат и модные рукава вполне совпадают. В результате и возникла общая студия.

Это было в мае. В ноябре неприветливый чужак, которого доктора именуют Пневмонией, незримо разгуливал по проездам, касаясь то одного, то другого своими ледяными пальцами. По Восточной стороне этот душегуб шагал смело, поражая десятки жертв, но здесь, в лабиринте узких, поросших мохом переулков, он плёлся нога за ногу.

Господина Пневмонию никак нельзя было назвать галантным старым джентльменом. Миниатюрная девушка, малокровная от калифорнийских зефиров, едва ли могла считаться достойным противником. Он свалил её с ног, и Джонси лежала неподвижно на крашеной железной кровати, глядя сквозь мелкий переплёт голландского окна на глухую стену соседнего кирпичного дома.

Однажды утром озабоченный доктор одним движением косматых седых бровей вызвал Сью в коридор.

— У неё один шанс... ну, скажем, против десяти, — сказал он, стряхивая ртуть в термометре. — И то, если она сама захочет жить. Вся наша фармакопея теряет смысл, когда люди начинают действовать в интересах гробовщика. Ваша маленькая барышня решила, что ей уже не поправиться. О чём она думает?

— Ей... ей хотелось написать красками Неаполитанский залив.

— Красками? Чепуха! Нет ли у неё на душе чего-нибудь такого, о чём действительно стоило бы думать, например, мужчины?

— Мужчины? — переспросила Сью, и её голос зазвучал резко, как губная гармоника. — Да нет, доктор, ничего подобного нет.

— Ну, тогда она просто ослабла, — решил доктор. — Я сделаю всё, что буду в силах сделать как представитель науки. Но когда мой пациент начинает считать кареты в своей похоронной процессии, я скидываю пятьдесят процентов с целебной силы лекарств. Если вы сумеете добиться, чтобы она хоть раз спросила, какого фасона рукава будут носить этой зимой, я вам ручаюсь, что у неё будет один шанс из пяти, вместо одного из десяти.

После того как доктор ушёл, Сью выбежала в мастерскую и плакала в японскую бумажную салфеточку до тех пор, пока та не размокла окончательно. Потом она храбро вошла в комнату Джонси с чертёжной доской, насвистывая рэгтайм.

Джонси лежала, повернувшись лицом к окну, едва заметная под одеялами. Сью перестала насвистывать, думая, что Джонси уснула. Она пристроила доску и начала рисунок тушью к журнальному рассказу. Для молодых художников путь в Искусство бывает вымощен иллюстрациями к журнальным рассказам, которыми молодые авторы мостят себе путь в Литературу.

Набрасывая для рассказа фигуру ковбоя из Айдахо в элегантных бриджах и с моноклем в глазу, Сью услышала тихий шёпот, повторившийся несколько раз. Она торопливо подошла к кровати. Глаза Джонси были широко открыты. Она смотрела в окно и считала — считала в обратном порядке.

— Двенадцать, — произнесла она, и немного погодя: — одиннадцать, — а потом: — “десять” и “девять”, а потом — “восемь” и “семь” — почти одновременно.

Сью посмотрела в окно. Что там было считать? Был виден только пустой, унылый двор и глухая стена кирпичного дома в двадцати шагах. Старый-старый плющ с узловатым, подгнившим у корней стволом заплёл до половины кирпичную стену. Холодное дыхание осени сорвало листья с лозы, и оголённые скелеты ветвей цеплялись за осыпающиеся кирпичи.

— Что там такое, милая? — спросила Сью.

— Шесть, — едва слышно ответила Джонси. — Теперь они облетают гораздо быстрее. Три дня назад их было почти сто. Голова кружилась считать. А теперь это легко. Вот и ещё один полетел. Теперь осталось только пять.

— Чего пять, милая? Скажи своей Сьюди.

— Листьев. На плюще. Когда упадёт последний лист, я умру. Я это знаю уже три дня. Разве доктор не сказал тебе?

— Первый раз слышу такую глупость! — с великолепным презрением отпарировала Сью. — Какое отношение могут иметь листья на старом плюще к тому, что ты поправишься? А ты ещё так любила этот плющ, гадкая девочка! Не будь глупышкой. Да ведь ещё сегодня доктор говорил мне, что ты скоро выздоровеешь... позволь, как же это он сказал?.. что у тебя десять шансов против одного. А ведь это не меньше, чем у каждого из нас здесь в Нью-Йорке. Съешь немножко бульона и дай твоей Сьюди закончить рисунок, чтобы она могла сбыть его редактору и купить вина для своей больной девочки и свиных котлет для себя...

— Постарайся уснуть, — сказала Сью. — Мне надо позвать Бермана, я хочу писать с него золотоискателя-отшельника. Я самое большее на минутку. Смотри же, не шевелись, пока я не приду.

Старик Берман был художник, который жил в нижнем этаже под их студией. Ему было уже за шестьдесят, и борода, вся в завитках, как у Моисея Микеланджело, спускалась у него с головы сатира на тело гнома. В искусстве Берман был неудачником. Он всё собирался написать шедевр, но даже и не начал его. Он пил запоем, но всё ещё говорил о своём будущем шедевре. А в остальном это был злющий старикашка, который издевался над всякой сентиментальностью и смотрел на себя, как на сторожевого пса, специально приставленного для охраны двух молодых художниц.

Сью застала Бермана, сильно пахнущего можжевеловыми ягодами, в его полутёмной каморке нижнего этажа. Сью рассказала старику про фантазию Джонси и про свои опасения насчёт того, как бы она, лёгкая и хрупкая, как лист, не улетела от них, когда ослабнет её непрочная связь с миром. Старик Берман, чьи красные глаза очень заметно слезились, раскричался, насмехаясь над такими идиотскими фантазиями.

Джонси дремала, когда они поднялись наверх. Сью спустила штору до самого подоконника и сделала Берману знак пройти в другую комнату. Там они подошли к окну и со страхом посмотрели на старый плющ. Потом переглянулись, не говоря ни слова. Шёл холодный, упорный дождь пополам со снегом. Берман в старой синей рубашке уселся в позе золотоискателя-отшельника на перевернутый чайник вместо скалы.

На другое утро Сью, проснувшись после короткого сна, увидела, что Джонси не сводит тусклых, широко раскрытых глаз со спущенной зелёной шторы.

— Подними её, я хочу посмотреть, — шёпотом скомандовала Джонси.

Сью устало повиновалась.

Лист плюща всё ещё оставался на месте.

Джонси долго лежала, глядя на него. Потом позвала Сью, которая разогревала для неё куриный бульон на газовой горелке.

— Я была скверной девчонкой, Сьюди, — сказала Джонси. — Должно быть, этот последний лист остался на ветке для того, чтобы показать мне, какая я была гадкая. Грешно желать себе смерти. Теперь ты можешь дать мне немного бульона, а потом молока с портвейном... Хотя нет:

принеси мне сначала зеркальце, а потом обложи меня подушками, и я буду сидеть и смотреть, как ты стряпаешь.

Часом позже она сказала:

— Сьюди, надеюсь когда-нибудь написать красками Неаполитанский залив.

Днём пришёл доктор, и Сью под каким-то предлогом вышла за ним в прихожую.

— Она вне опасности. Вы победили. Теперь питание и уход — и больше ничего не нужно.

В тот же вечер Сью подошла к кровати, где лежала Джонси, с удовольствием довязывая ярко-синий, совершенно бесполезный шарф, и обняла её одной рукой — вместе с подушкой.

— Мне надо кое-что сказать тебе, белая мышка, — начала она. — Мистер Берман умер сегодня в больнице от вопаления легких. Он болел всего только два дня. Утром первого дня швейцар нашёл бедного старика на полу в его комнате. Он был без сознания. Башмаки и вся его одежда промокли насквозь и были холодны, как лёд. Никто не мог понять, куда он выходил в такую ужасную ночь. Потом нашли фонарь, который всё ещё горел, лестницу, сдвинутую с места, несколько брошенных кистей и палитру с жёлтой и зелёной красками. Посмотри в окно, дорогая, на последний лист плюща. Тебя не удивляло, что он не дрожит и не шевелится от ветра? Да милая, это и есть шедевр Бермана — он написал в ту ночь, когда слетел последний лист.

(Перевод с английского Н.Л.Дарузеса)

ОМАР ХАЙЯМ

Рубаи

***

Книга жизни моей перелистана – жаль!
От весны, от веселья осталась печаль.
Юность – птица: не помню, когда пролетела
И когда унеслась, легкокрылая, вдаль.

***

Мы источник веселья — и скорби рудник.
Мы вместилище скверны — и чистый родник.
Человек, словно в зеркале мир — многолик.
Он ничтожен — и он же безмерно велик!

***

Принеси заключенный в кувшине рубин —
Он один мой советчик и друг до седин.
Не сиди, размышляя о бренности жизни, —
Принеси мне наполненный жизнью кувшин!

***

Поутру просыпается роза моя,
На ветру распускается роза моя.
О, жестокое небо! Едва распустилась —
Как уже осыпается роза моя.

***

Нет ни рая, ни ада, о сердце моё!
Нет ни мрака возврата, о сердце моё!
И не надо надеяться, сердце моё!
И бояться не надо, о сердце моё!

(перевод Г. Плисецкого)

РАСУЛ РЗА
(Расул Ибрагим оглы Рзаев)

«Карабах»

Карабах Мой Карабах,
Тебя назвали так,
Быть может, потому,
Что кто-то крикнул:
«Кара бах!»,
Снега увидев на твоих горах.
А может быть, тебя
Назвали «Кара баг»
Из-за твоих тенистых родников?
А может, путник, умирающий от жажды,
Взглянув на Кирс, чья белая вершина
Мерцает из-за облаков,
С надеждою воскликнул:
«Кара бах! Гора в снегах!»
С тех пор твое названье — Карабах,
Названье древнее,
Как летопись борьбы народа моего...
И люди, чьи надежды
На жизненных дорогах стали ссадинами,
Натертыми невзгодами и горем,
Сказали так:
Пускай в истории народа
Сотрутся горькие два слова: «Кара бахт!»
Будь счастлива земля,
Взметнувшая на скалах,
Точно знамя, прославленный Шушою Карабах!
А может быть, ты назван так
За то, что черным был платок
На головах у девушек-невест
С глазами, покрасневшими от слез?
А может быть,
Из-за свинцовых туч,
В которых и луна казалась черной?
А может быть, за зерна,
Родившиеся в каплях пота?
Иль за доверье, завоеванное в битвах,
Тебя назвали Карабах!
Я аромат твоей земли
Вдохнул у родника,
В траву лицом упав...
О этот аромат знакомый,
Как запах материнских рук, ее волос,
Как склоны и луга Шуши
И как на переносице сходящиеся брови Натаван!
Но ты не думай, Карабах,
Что только прошлое твое
Мне греет сердце.

Нет! Я горжусь сегодняшним и завтрашним
Твоим рассветом.
Сегодня ты уже не «черная судьба»,
Сегодня на твоих лугах,
В твоих садах —весна.
Благословенный край,
Благословенные твои дороги —
Кочевье бабушки моей и деда,
Что жил с засученными рукавами.
Каких парней с отвагою в сердцах,
Каких красивых девушек
Ты породил
И породишь еще —героев,
Что в мир придут с улыбкой на губах!
Ты — соль
Любимых наших песен, их аромат,
Ты в сердце навсегда,
Ты навсегда в глазах,
Родной мой Карабах,
Мой Карабах!!!

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЕСЕНИН

“Отговорила роща золотая…”

Отговорила роща золотая
Берёзовым, весёлым языком,
И журавли, печально пролетая,
Уж не жалеют больше ни о ком.

Кого жалеть? Ведь каждый в мире странник –
Пройдёт, зайдёт и вновь покинет дом.
О всех ушедших грезит конопляник
С широким месяцем над голубым прудом.

Стою один среди равнины голой,
И журавлей относит ветром вдаль,
Я полон дум о юности весёлой,
Но ничего в прошедшем мне не жаль.

Не жаль мне лет, растраченных напрасно,
Не жаль души сиреневую цветь.
В саду горит костер рябины красной,
Но никого не может он согреть.

Не обгорят рябиновые кисти,
От желтизны не пропадет трава,
Как дерево роняет тихо листья,
Так я роняю грустные слова.

И если время, ветром разметая,
Сгребет их все в один ненужный ком...

Скажите так... что роща золотая
Отговорила милым языком

(1924)

САМЕД ВУРГУН

“Горы”

Средь ваших царственных шатров
Бродил я в упоенье, горы.
Для новых строф, для верных слов
В вас черпал вдохновенье, горы!

Олень пугливою стопой
Спускается на водопой;
Где б ни был – рвусь за ним душой!
Как жить мне в отдаленье, горы?

Кочевью ширь лугов нужна,
Орлу степному –вышина,
А мне скитаться б дотемна
Меж круч порой весенней, горы!

Вершины скал, одна к другой,
Застыли солнечной грядой…
Поят нас силою живой,
Дарят нам дней продленье, горы!

Пусть в этом мире гость поэт,
Но им стоять мильоны лет,
И верь: любви твоей, Самед,
Не предадут забвенью горы.

Перевод Э. Александровой

САБИР РУСТАМХАНЛЫ

Возвращение в Карабах

(Отрывки из поэмы)

VI

Солдат идёт брать крепость, ступает налегке,
Взбирается по скалам, лишь нож в его руке.
На острие его клинка сиянье пары глаз,
А сколько недругов пронзит, блеснув в бою не раз!

Трусливый враг, коварный враг,
Тебе неведом честный бой!
Пускай потухнет твой очаг,
Когда польстишься на чужой!

В Шуше кичился, пировал,
В чужом краю яллы плясал,
Куда же делось хвастовство,
Когда расплаты час настал?!

Вагиф красавиц воспевал,
Что гордо плыли по равнине.
Панах хан здесь повелевал!
Тебя ж и не было в помине!

Крепка, неуязвима крепость,
И птице не домчать крылами,
Завоеватели напрасно
Грозили крепости войсками.

Певучий соловей – Шуша,
Бюльбюля тонкая душа.
Раздастся эхом чахаргях[1],
И славен Узеир в веках!

Здесь воздух сладостен, как мёд,
И в каждом камешке живёт
Любовь к земле родной!
Ни пяди не дадим врагу, встав за неё горой!

Поэт в сердцах оставит след,
И пусть пройдёт немало лет,
Потомки вечно будут чтить
Живую летопись побед!

---

[1] ***Форма поэзии, одна из разновидностей мугама.***

VII

Идёт солдат, вгрызаясь в сумрак ночи,
Наутро крепость обретёт свободу.
В душе солдата дух отцов клокочет,
Бой предстоит ему к восходу…

Сквозь грохот канонад, пробив преграды,
Войдёт он в крепость, будто лучик света,
Избавит крепость от гнилого смрада
И разнесётся клич его победный!

В Лачине, по дороге в Ханкенди
Повсюду изгороди, танков вереницы,
Но мой солдат крылат, гляди,
Он на врага бесстрашно мчится.

А что же враг? Глядит в недоумении,
От удивления опешил.
К приспешникам взывает он в смятении,
Ещё не верит, что в бою повержен.

И весь затрепетал от страха,
И тотчас спесь с него слетела,

Забился, будто в клетке птаха,
Лицо от горя почернело.

Гляжу сквозь годы. Помнятся черты,
Врагом разрушенного края,
Кровоточащей раны Дашалты
Боль голосит, не утихая.

Там полегли бойцы – сыны Отчизны,
Став жертвой каверз и предательств,
Глядят сквозь годы с укоризной,
Всё ожидая разбирательств.

На перекрёстке, в смутную эпоху,
Когда страна казалась полем боя, –
Не знал народ, что хорошо, что плохо,
И каждый мнил себя героем.

Минули годы, пой душа, взыграй!
Весть о победе всюду раздаётся!
Мы возвратились в отчий край,
В тот край, что Родиной зовётся

Перевод Н.Гафаровой

ФЁДОР ИВАНОВИЧ ТЮТЧЕВ

“Не то, что мните вы, природа…”

Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик…
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык…
Вы зрите лист и цвет на древе:
Иль их садовник приклеил?
Иль зреет плод в родимом чреве
Игрою внешних, чуждых сил?
Они не видят и не слышат,
Живут в сем мире, как впотьмах!
Для них и солнцы, знать, не дышат
И жизни нет в морских волнах!
Лучи к ним в душу не сходили,
Весна в груди их не цвела,
При них леса не говорили
И ночь в звездах нема была!
И языками неземными,
Волнуя реки и леса,
В ночи не совещалась с ними
В беседе дружеской гроза!
Не их вина: пойми, коль может,
Органа жизнь глухонемой!
Увы, души в нём не встревожит
И голос матери самой!

(1936)

ХАФИЗ ШИРАЗИ
(Шамседдин Мухаммед)

“Ветер нежный, окрылённый, благовестник красоты...”

Ветер нежный, окрыленный, благовестник красоты.
Отнеси привет мой страстный той одной, что знаешь ты.

Расскажи ей, что со света унесут меня мечты,
Если мне от ней не будет тех наград, что знаешь ты,

Потому что под запретом видеть райские цветы

Тяжело, — и сердце гложет та печаль, что знаешь ты.

И на что цветы эдема, если в душу пролиты
Ароматы той долины, тех цветов, что знаешь ты?

Не орлом я быть желаю, видеть землю с высоты:
Соловей Хафиз ту розу будет петь, что знаешь ты.

(Перевод А. А. Фета)

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ
«ЛИЦОМ К ЛИЦУ»
(В сокращении)

Мимо единственного на полустанке фонаря косяками проносились охапки сырых тополиных листьев. Прямые и стройные, как шомпола, упруго раскачивались они на ветру, и шум их высоких вершин напоминал отдаленный рокот моря.

Темна ночь в ущелье Черной горы. Но еще непроглядней она на маленьком полустанке под горой. Эшелоны идут на запад. Вот и сейчас подошел длинный состав с пропыленными вагонами Никто не сошел на полустанке, никто не крикнул: "Какая это станция?" Люди, истомленные дальней дорогой, спали в вагонах.

Когда дежурный по станции, размахивая фонарём, пробежал в голову состава, из предпоследнего вагона высунулся дневальный. Он, вытянув шею, стоял у двери, напряженно всматриваясь в темноту и прислушиваясь. Дневальный отпрянул, поглядел внутрь вагона. Потом снова выглянул: безлюдье, ветер, ночь...

Спустя минуту вороватой тенью отделился от вагона человек в шинели, отошел к кустам у арыка и скрылся в них. Раздался пронзительный свист. Человек в кустах рванулся бежать, но тут же притих, прижался к земле. Он понял: это дежурный давал свисток к отправлению. Вагоны тяжело заскрипели, и поезд тронулся в свой дальний путь.

Когда стихло эхо в скалах, человек приподнялся в кустах и начал дышать шумно и жадно, словно перед этим долго сидел под водой.

Бурно вздыхали тополя. С гор тянуло запахом осенних выпасов. Темна ночь в ущелье Черной горы...

С тех пор, как Сейде родила, сон у нее чуток, как у птицы. Перепеленав ребенка в сухое, она сидела при свете фитиля, приткнувшись боком к бешику* (*детская кочевая люлька).*

В углу спала свекровь. Старая она, слабая, кашляет со стоном, как больная овца. Сил хватает лишь на то, чтобы молиться Богу. Когда Сейде уходит на работу, старуха нянчит внука. Все-таки помощь! Она и в поле носит ребенка, чтобы мать покормила его грудью, а сама дышит с хрипом, и руки мелко трясутся. Старухе очень трудно, но она никогда не жалуется: кому, как не ей, нянчить первенца своей единственной снохи?

Давно уже за полночь, а все не спится. Да и можно ли спокойно уснуть? Кто бы мог подумать, кто мог ждать, что настанут такие времена? Появились слова, ранее не слыханные: "герман", "фашист", "повестка"... В аиле что ни день, то проводы. С мешками за спинами собираются мужчины на большой дороге, набиваются в брички, машут на прощанье тебетеями. Заплаканные женщины и дети, сбившись в кучу, стоят на бугре, пока брички не скрываются из глаз, потом молча расходятся. Что-то будет дальше? Вернутся ли с войны аскеры?

Прошлым летом, когда Сейде, чабанская дочь, вошла в семью мужа, их дом еще не был достроен: стены не засаманены и не оштукатурены, крыша не залита глиной. Если бы снова вернуть те дни! Урывками достраивали они свой дом, и, может быть, так же урывками Сейде грелась в лучах своего короткого счастья. Помнится, из арыка бежала теплая струйка воды, а они с мужем, высоко взмахивая кетменями, перемешивали полову с землей и, заголив ноги до бедер, месили звучно чмокавшую глину. Это была тяжелая работа: новое сатиновое платье Сейде полиняло за несколько дней, но они совсем не замечали усталости. Муж тогда казался очень довольным, он то и дело хватал жену за полные смуглые руки, обнимал и, балуясь, наступал ей в глине на ногу. Сейде вырывалась, со смехом бегала вокруг ямы. Когда муж догонял ее, она сердилась для виду:

- Ну, оставь, оставь же! Ведь мать увидит - и не стыдно? - Ну, довольно, говорю, ой, ты посмотри только на себя, на кого ты похож, все лицо в глине!

- А ты сама-то ? Сперва на себя посмотри!

И Сейде доставала из карманчика бешмета, брошенного в тени под деревом, маленькое круглое зеркальце. Это она не ленилась делать и всякий раз, застенчиво отворачиваясь от мужа, с восхищением смотрела в зеркальце на свое раскрасневшееся лицо, заляпанное глиной. Но ведь глина не испортит красоты - стоит только смыть ее. Сейде смеялась перед зеркальцем, смеялась от счастья.

Пусть себе брызжется глина!

Вечером в темной синеве ночи над головой матовым перламутром светились вершины снежного хребта, за арыком, цвела свежая, душистая мята, и где-то совсем рядом в траве пел перепел. Ее охватывало отрадное ощущение светлой спокойной красоты в себе самой и во всей окружающей ее жизни. Она ближе пододвигалась к мужу, мягко закидывала руку за его шею. А сколько они мечтали в ту пору! О том, как достроят дом, как обзаведутся хозяйством, как пригласят к себе ее родителей и какие приготовят для них подарки... Все это было счастьем.

Когда засаманили стены, началась война. Кое-как, наспех, оштукатурили стены внутри дома, и тут начали брать джигитов в армию.

Никогда не забыть того дня, не остыло еще горе разлуки. Словно вчера все это было. Мобилизованных провожали всем аилом за околицей. Сейде постыдилась людей и не посмела проститься с мужем так, как ей хотелось. Она неловко сунула мужу руку, потупилась, боясь показать слезы; так они и расстались. Но когда джигиты скрылись в степи, Сейде вдруг поняла до боли, что надо было отбросить стыдливость перед старшими, и крепко обнять мужа. Как горько упрекала она себя! Потерянного не воротишь. С той поры потянулись гнетущие дни, и все, чего она не сумела выполнить, теперь спеклось кровью в груди.

Фитиль догорал. Со двора кто-то осторожно постучал в окно. Сейде вскинула голову, насторожилась. Снова повторился негромкий прерывистый стук. Сейде быстро сбросила с плеч чапан и легкими шагами подошла к окну.

Через низкое окно во дворе ничего не видать - мрак.

Сейде зябко передернула плечами, чуть слышно звякнули подвески на косах.

- Кто там? - подозрительно спросила она.

- Я... Открой... Сейде! - приглушенно и нетерпеливо ответил хриплый голос.

- Да кто ты? - неуверенно переспросила она, отпрянула в сторону и метнула испуганный взгляд на детский бешик.

- Я... Это я, Сейде, открой!

Сейде наклонилась к окну, тихо вскрикнула и, схватившись за голову, опрометью кинулась к двери.

Дрожащей рукой нащупала она в темноте крючок, рванула дверь и беззвучно припала к груди стоящего перед ней человека.

- Сын свекрови! Сын моей свекрови! - сдавленным шепотом выговорила она по привычке и, уже больше не в силах сдерживаться, назвала его по имени: "Исмаил!" Сейде заплакала. Какое счастье, какое нежданное счастье - ее муж вернулся живой и невредимый! Вот он стоит, Исмаил, и от него пахнет крепкой махоркой.

Что же он молчит? Или это от радости? Дышит тяжело и, как слепец, гладит руками ее голову.

- Зайдем-ка в дом! - быстро прошептал Исмаил, сгреб ее в охапку, шагнул через порог. Только теперь опомнилась Сейде.

- Ой, да что ж это я, глупая? Мать, суюнчу* (*радостная весть)*: сын вернулся!

- Чш! - Исмаил схватил ее за руку.- Стой, кто дома?

- Мы одни, сын твой в бешике!

- Постой, дай отдышаться!

- Мать обидится...

- Подожди, Сейде!

Все еще не веря в то, что муж вернулся, Сейде порывисто обняла его. Она слышала, как под сукном шинели отрывистыми, неровными толчками билось его сердце.

- Когда вернулся-то? Насовсем? - спрашивала она.

Исмаил снял с плеч руки Сейде и сказал глухо:

- Прямо со станции... Идем, показывай сына.

Почти каждый день, в сумерках, с дальних лугов Сейде таскает вязанки хвороста. Долго бредет она по неприметным овечьим тропам и, когда аил уже близко, присаживается на бугре отдохнуть в последний раз.

Но сегодня Сейде не удалось отдохнуть. Издалека донеслось эхо паровозного гудка. Сейде встрепенулась и быстро пошла, сгибаясь под тяжестью. Гудок паровоза напомнил ей о побеге Исмаила. Беспокойно заныло сердце.

Сейде шла по улице, опасаясь, как бы кто-нибудь не остановил ее. "Скорей бы кончились лунные ночи", - думала она. Тогда бы ей не приходилось каждый день ходить за хворостом, готовить Исмаилу еду и потом носить ее к нему в убежище. Днем он отлеживался в пещере, а в темные ночи пробирается домой. Когда он приходит, они завешивают окна, запирают двери. На всякий случай Сейде вырыла яму и прикрыла ее циновкой. Так и живут.

Старуха-мать никак не может привыкнуть к такой жизни. Исмаил начинает иногда расспрашивать, как идут дела в аиле. Но чаще он сидит молча, угрюмый, устало опустив плечи, и с нетерпением поглядывает на кипящий казан. Надо побыстрей накормить его, чтобы до рассвета он успел вернуться в свою пещеру. Сейде суетливо возится у очага и думает свои думы. Ей и жалко Исмаила, и она боится потерять его, боится остаться одна с больной старухой и маленьким сыном.

Исмаил очень изменился. В пещере он не видит солнца, не дышит ветром, лицо его приняло землистый оттенок, на отекших щеках торчит взъерошенная борода. Иной раз он смотрит беспомощно, как загнанная лошадь, а иной раз глаза его твердеют, черные точки зрачков поблескивают в щелях век со скрытой жестокостью и яростью. Жуть берет, глядя на него! В такие минуты Исмаил даже забывает о сыне, которого держит на руках.

Таким ли был Исмаил в прошлое лето? Черный от загара, жилистый, как журавль, он работал, не покладая рук, не зная устали. Тогда они строили дом. Тогда все было ясно и просто в их жизни, ничто не смущало и не тревожило их. А теперь он дезертир. Теперь

он приходит в собственный дом украдкой, по ночам. И как только придет, уже торопиться уйти.

Сейде старается не замечать этого. В те редкие ночи, когда муж приходит и сидит перед нею с сыном на руках, ей смертельно хочется забыть обо всем, забыть, забыть и хоть на один короткий час по-настоящему быть счастливой.

"Пусть он дезертир, пусть! - утешает она себя, раскатывая на доске тесто.- Мужчина знает, как ему поступать. Ведь Исмаил говорит: "Каждому своя жизнь дорога, а в эту войну только тот и уцелеет, кто сам позаботится о своей голове". Не мне его учить, значит так надо, ему виднее, разве стану я собственными руками отрывать его от себя? Да ни за что! Одним Исмаилом казна не обеднеет. Ну, сбежал, и что ж из этого? Никому никакого вреда, пусть себе бережется, подумаешь, разве ему охота погибать?.. Лишь бы зиму перебиться,- в доме кукурузы мало, дотянуть бы до весны...

По утрам полынь над арыками покрывалась бородками инея, временами выпадал снег. Овцы ходили с мокрой шерстью, дымящейся буроватым навозным паром. За ними неотступно летали сороки, нагло высматривая облезлые бока овец. Зима приближалась, туманная, хмурая... А войне не видать ни конца ни края, все больше народу уходило на фронт.

На этот раз отправляли самых молодых, которым только что вышел срок, совсем еще безусых ребят.

Старухи отжимали слезы с ресниц:

- Эх, родненькие, пусть скорей придет день, когда мы снова услышим ваши песни!..

Сейде тоже была здесь, среди молодых, не смея поднять глаз, словно провинилась перед всеми. Забившись подальше в угол, она прикрыла рот платком ти молчит…

И тут Сейде вспомнила: сегодня нужно отнести Исмаилу талкан. Исмаил ее ждет. И снова Сейде уронила голову; мысли ее перенеслись к дому: "Талкан недомолот, да и ребенок некормлен... "

Джигиты вышли на улицу, народ, ожидавший у бричек, колыхнулся, повалил навстречу.

- Благословим их! - срывающимся голосом крикнул с седла табунщик Барпы, скуластый, седой старик. Среди сутолоки и шума брички покатили под гору и вскоре скрылись в тумане.

Когда в аиле стихли голоса, Сейде засунула под чапан мешочек с талканом и несколько лепешек, взяла веревку и серп и крадучись отправилась за хворостом.

Туман лежал на пустынных увалах и в логах. Стояла гнетущая тишина - ворон не каркнет. Боязливо озираясь в тумане, женщина спешила к самому дорогому своему, самому близкому человеку.

Еще с осени почтальон Курман стал объезжать стороной два крайних на улице двора. Он делал вид, что спешит с какой-то срочной доставкой, и пускал лошадь вскачь. Но Тотой почти всякий раз замечала почтальона. Она уже не надеялась, что получит письмо, и все-таки, бросив ступу, которой обмолачивала собранные на поле колосья, выбегала на улицу и махала вслед почтальону жилистой худой рукой.

Заслышав голос матери, трое мальчишек вырывались из-за дувала - они играли там весь день на солнцепеке - и, обгоняя друг друга, кидались что есть духу к почтальону.

- Письмо, письмо от отца!

- О-ой, чтобы враг вас сразил, письма-то ведь нет! Что это за дети! - возмущался растерявшийся Курман.- Сперва узнать надо, что и как, а потом уж кричать на весь аил!..

Дети усиленно сопели носами, недоверчиво поглядывая на его толстую сумку, и не уходили: все еще ждали чего-то. Курману было жалко их, босоногих глупышей.Ну, что ты им скажешь?

- Или вы думаете, родненькие мои, что я спрятал ваше письмо? – бормотал он и в доказательство лез к себе за пазуху и потом показывал пустую руку. Сегодня нет, зато в другой раз обязательно будет. Бог даст, привезу в базарный день... А теперь бегите... Да передайте Сейде: для нее тоже нет письма.

Каждый раз, когда Сейде возвращалась с хворостом, ее встречал Асантай, средний сын соседки Тотой, мальчишка лет семи, одетый в старую отцовскую телогрейку с обтрепанными рукавами. У него удивительно чистые, выразительные глаза, взгляд немного наивный, мечтательный.

- Сейде-джене, от Исмаке опять нет писем, и нам тоже нет,- сообщал Асантай со своей неизменной, чуть виноватой улыбкой и потуже запахивал телогрейку, мешком висящую на его щуплых плечах.- Курмаке сказал, что привезет письмо в базарный день. Он сон такой видел!

Из-под нахлобученной заячьей шапки смотрели на Сейде доверчивые детские глаза. Взгляд их обещал многое, далее то, что невозможно. Если бы мальчик знал, как тяжело Сейде выслушивать его бесхитростные слова! "О Боже, хоть бы какая-нибудь весточка от отца этих детей!" - думала она. Ей казалось почему-то, что если соседка Тотой получит письмо от мужа, то это и ей принесет какое-то облегчение. Иной раз ночью она вспоминала слова Асантая, и страх нападал на нее.

Тотой жила рядом. Несколько дней назад, ближе к ночи, когда жизнь в аиле замерла, Сейде принялась за стирку белья для Исмаила. Стирка затянулась до рассвета, белье пришлось сушить над огнем. Ранним утром Сейде собралась по воду. Вышла на порог и сразу же зажмурилась: за ночь густо выпал снег. Унылая, однотонная белизна снега была ей неприятна. Она почувствовала тошноту и головокружение. Ничего, пройдёт. Это от бессонной ночи. Она старалась больше не думать о себе, она думала об Исмаиле. " Скоро ударят морозы, каково-то ему будет в пещере?"

Да, зима легла по-настоящему. Еще только вчера земля была черная, а сегодня даже горы от гребней до подошвы покрыты свежим снегом. Сизые иззябшие вербы согнулись над арыками. Вяло волокутся в небе тяжелые, сумрачные тучи. Небо, казалось, опустилось ниже, мир как бы уменьшился. Люди еще не вставали: никому не хотелось выходить на холод в такую рань.

Сейде шла, опустив голову, и размышляла, как бы переправить Исмаилу большую кошму: "Без нее не выдержать ему таких холодов..." Мысли ее внезапно оборвались, она увидела следы на снегу. "Это, наверно, Тотой",- догадалась она и тут же увидела ее. Тотой шла навстречу с ведрами. На ее ногах - большие тяжелые сапоги, а сама она тонкая, со впалыми щеками, по углам рта морщины, чапан подвязан веревкой по-мужски, тугим узлом. Увидев Сейде, Тотой поставила ведра на землю и стала поджидать ее, растирая посиневшие от холода руки.

- Или ты всю ночь не спала? Вон как глаза ввалились и лицо пожелтело,- сказала соседка.

Да, нет, что-то голова болит,- ответила Сейде, потом поспешно добавила: - А что мне делать ночью, если не спать? - И сама испугалась своих слов, чувствуя, как у нее холодеет под ложечкой. "Может, Тотой выходила ночью на улицу и догадалась, что я стирала? Сейчас спросит..."

- Правда, сегодня ночью мне не спалось, сын плакал,- попыталась она как-то сгладить свои необдуманные слова.

Тотой понимающе покачала головой.

- И-и,- протяжно проговорила она,- ты такая же одинокая, как и я! Старуха твоя - тень в доме, только и знает, что сидеть у очага. Хорошо еще, если вынянчит внука. Совсем одряхлела... И родители твои не близко чабанят... Вот ведь как складывается в жизни, все одно к одному! - Тотой замолчала, с искренним сочувствием поглядывая на притихшую Сейде. Ей по-настоящему было жаль ее. Опушенные густыми ресницами глаза Тотой всегда строгие, пронзительные, сейчас смотрели мягко, спокойно, с каким-то щемящим, милым бабьим раздумьем. Давно Сейде не видела ее такой. "В девичестве она, наверно, была красивая. И у Асантая тоже красивые глаза, материнские",- подумала Сейде.

Тотой глубоко вздохнула и сказала:

- Все убиваешься, писем нет... Что ж, судьба наша такая! Я осталась с тремя детьми, а ты и полгода не пожила с мужем. Самая пора ваша была, а тут война... Сына родила - отец не видел... Обидно, конечно... Эх, все бы ничего, все переживется и перемелется. Да вот писем нет!.. Как подумаю, руки виснут... Вот и зима пришла, а у меня ребятишки голые... Кукурузы осталось всего два мешка... А что это для нас? - Она в сердцах махнула рукой, стряхнула слезы и, сурово блеснув глазами, подхватила ведра.

Испуганная и в то же время обрадованная тем, что Тотой ни о чем не догадывается, Сейде растерянно смотрела ей вслед. Она ничего не сумела сказать Тотой. Отзывчивость этой маленькой женщины, ее мужество и слабость растрогали Сейде, и в то же время она чувствовала себя так, словно Тотой, сама того не зная, обвинила ее в чем-то, упрекнула. Она сказала, что их судьбы одинаковы, и значит, Сейде не имеет права роптать. Сейде не могла разобраться в своих противоречивых, неясных чувствах и, оправдывая себя, думала: "А что ж мне делать? У каждого своя судьба. Что написано на роду, тому и быть. Если детям Тотой уготовано счастье, отец их вернется..."

Байдалы, муж соседки Тотой, всю жизнь был поливальщиком. По вечерам, возвращаясь с работы, можно было видеть его на поливе. Размашисто, уверенно вышагивал он по полю, направляя воду в арыки.

"Умеет беречь воду, рука у него золотая!" - говорили о нем в аиле. Он раскатисто хохотал, когда женщины, подоткнув платья и держась за руки, переходили через бурлящий полноводный арык:

- Э-эй, что вы там? Боитесь, вода утащит? Все равно в мои руки попадете. Не упущу!

- Чтоб твои арыки размыло, черт ненасытный! - крикливо отвечали ему женщины-сверстницы.

А он, очень довольный, продолжал хохотать все так же раскатисто.

Иной раз, забежав к соседям, Сейде заставала такую сцену. Тотой, недовольная чем-то, поджав губы, ожесточенно гремела скребнем по дну казана, а Байдалы мастерил ребятам игрушки и говорил спокойно:

- Зря ты ругаешься, байбиче. Живем не хуже других... Ну-ка, поди, в каждой ли семье по три сына? Ты мне их родила, а другого богатства мне не надо... Вот они, мои богоданные молодцы!

С фронта Байдалы часто писал домой, а с осени писем не стало... Как мы видели, почтальон Курман, проезжая мимо, испытывал чувство вины, как если бы должен был вернуть долг, а денег у него не было. Зато Мырзакул, председатель сельсовета, стал наезжать чаще. Уж одно это пугало Сейде до смерти. Может быть, Мырзакул подозревает и хочет выследить Исмаила? Однако по его виду ничего пока не заметно. До сих пор о побеге Исмаила не знает ни одна душа в аиле. Исмаил очень осторожен.

Проезжая по аилу, Мырзакул мимоходом заглядывает к ним как бы по делу. До ухода в армию он был молодой джигит. Черный каракулевый тебетей носил лихо, набекрень. В аиле его считали лучшим певцом; сам слагал песни. Вернулся с фронта без

одной руки - не узнать его теперь, совсем не тот. И характером не тот: вспыльчивый, крутой. Похож на дерево, искалеченное бурей.

Обычно Мырзакул въезжает во двор к Тотой.

- Э-эй, Тотой, где вы там? Живы? - Потом заглядывая со стремян через высокий дувал, издали окликает Сейде: - Здоров ли твой малыш, Сейде?..

Сверни мне цигарку из табака, что у тебя припрятан дома. Да иди сюда, к соседке... Дело есть... Потом управишься...

Мырзакул никогда не спрашивал, получают ли они письма от мужей. Не хотел лишний раз расстраивать женщин, да к тому же он всегда сам просматривал аильскую почту и знал все дела аила. И все же всякий раз, встречаясь с ним, Сейде волновалась. Ей казалось подозрительным, почему он не спрашивает, есть ли письма от Исмаила. Значит, что-то знает. Значит, это неспроста...

Свернув цигарку из табака, который она припасла еще летом на плантации, Сейде раскуривает ее и идет к соседке, изо всех сил стараясь подавить в себе нарастающий страх. Мырзакул, завидя ее, слезает с лошади и с, наслаждением затягиваясь дымом, заводит безразличную речь: о том да о сем...

- Хороший табак припасла, Сейде! - похвалил он ее однажды.- Пошли Исмаилу в посылке, пусть покурит. Вспомнится ему наш Талас. Ведь такого табака, как у нас, нигде нет.

- Пошлю,- с трудом выговорила Сейде. Надо бы еще что-нибудь сказать, но ничего не приходило на ум. Ей показалось даже, что Мырзакул угадал по лицу, как мечутся ее мысли, и от этого еще больше покраснела. Она притворно закашлялась:- Фу, какой горький дым, горло дерет... И что в нем хорошего?..

В другой раз Мырзакул осмотрел деревья, высаженные на огороде Тотой вдоль арыка, и упрекнул ее:

- Старший-то твой уже работник... Обрубить надо ветки, а то деревья перестанут расти. Да и лишние дрова пригодятся...

Тотой с досадой глянула на Мырзакула, тяжело вздохнула:

- А если и перестанут расти, плакать не стану: кому они нужны! Разве дерево - опора человеку?.. Поди-ка попробуй: и в колхозе работай, и колосья собирай, и детей корми… А ты еще тут про деревья толкуешь...

- А ты знаешь, Тотой, может не только деревья, но и тень их пригодится,- спокойно произнес он и вдруг вспылил, закричал, будто давно собирался высказать им все это в глаза: - Вы бросьте эти свои бабьи хныканья! Как чуть задержка с письмами, так они уж голосить готовы... Русские женщины в окопах с винтовками сидят, не хуже мужчин, сам видел... А вы у себя дома - ноете, что писем нет!..

Тотой промолчала, не возразила ни слова. А Сейде ответила неожиданно для себя:

- Сегодня же всё сделаем!

Мырзакул больше ничего не сказал. Все еще возбужденный и злой, он как-то странно, внимательно посмотрел на нее - кажется, с одобрением. Потом сел на лошадь и уехал.

В этот день, помогая Тотой по хозяйству, Сейде испытывала безотчетную, тихую радость, она успокоилась, будто искупила свою вину. Давно уже не было у нее такого ясного света в душе, такого подъема, когда все хочется сделать непременно сегодня же, когда работа спорится в руках.

И так повелось: каждый раз, когда наведывался Мырзакул, смятение и страх охватывали Сейде. Все ждала, когда он спросит: "Где твой Исмаил? Куда ты его прячешь?.." И сердце билось так гулко, что она боялась, не услышал бы он.

С буранами и трескучими морозами подошла самая холодная пора зимы - чилде. Всю неделю не утихал ветер, сгонял снег в крутые, плотные сугробы.

Опустел аил. Жить изо дня в день становилось труднее. Только бы дотянуть до весны.

Все, что есть в доме, что удавалось добыть, Сейде приберегала для мужа. "Сами-то мы у себя дома, хоть на воде, да перебьемся",- говорила она старухе, которая и без ее слов готова всем пожертвовать ради сына. И все же, когда Исмаил приходил домой, сердце Сейде сжималось в горячий комок от стыда и жалости: "Ох, что станется с тобой в такие холода? Был бы ты дома, пылинке бы не позволила сесть на тебя!.." А он сидел у огня сычом, мутно и зло поблескивали его одичалые глаза. Лицо, как кошма, загрубело от холодов. Сейде понимала: тяжело ему; она старалась обласкать мужа, развлечь его разговорами.

Позавчера, когда Сейде возвращалась с работы в табачном сарае, у моста ее догнал Мырзакул.

- Постой, Сейде! - окликнул он ее.

Казалось бы, ничего подозрительного не было в его голосе, но Сейде в один миг насторожилась, ожидая самого страшного, и быстро прикрыла платком задрожавшие губы. Мырзакул подъехал к ней на рыси, нагнулся с седла и пристально всмотрелся в лицо. "Узнал! - ужаснулась Сейде.

- Я хочу по-родственному предупредить тебя, Сейде,- проговорил он, - завтра будем выдавать понемногу зерна семьям фронтовиков... Так вот, не все попали в список. Тебя тоже нет, Сейде. Ты же понятливая, не обидишься. Кое-как разделили по пять, по десять кило на многодетных, таких, как Тотой... У Сейде отлегло от сердца...

- Ну что же, нет так нет,- ответила она, приходя в себя.

Мырзакул понял это по-своему.

- Но ты, Сейде, смотри, не думай плохое,- как бы оправдываясь заговорил он.- В другой раз и тебе дадим... Обязательно... это я обещаю... Ты и старухе так скажи, а то будет ворчать: "Мырзакул нашего рода, а что от него толку, хоть он и сельсовет..." Я рад бы сделать для своих да сама видишь...-

Мырзакул задумался, оглядел заснеженные аильные кибитки, тронул лошадь, но тут же придержал. Что-то еще собирался он сказать, но, видно, не решался. Он снова посмотрел ей в глаза странным, непонятным взглядом, как тогда, во дворе Тотой, только на этот раз более откровенно. Да, теперь было ясно: с нежностью и восхищением смотрел он на Сейде, и глаза его говорили: "Я знал, что ты поймешь меня... Я всегда верил тебе... Ты самая лучшая на свете, я люблю тебя... Давно уже люблю..."

Пугливо прикрываясь платком, бледная от страха и волнения, Сейде невольно отпрянула назад. В ее широко раскрытых глазах застыло удивление, она была сейчас очень хороша.

- Я пойду! - тихо, но твердо сказала она.

- Ну, иди, сын-то, наверное, плачет...

Сейде круто повернулась и пошла, едва удерживаясь, чтобы не побежать. Отойдя немного, она оглянулась через плечо, остановилась. Понурив голову, не оглядываясь, Мырзакул ехал по-над берегом. Лошадь шла тихим шагом, он не понукал ее. Может быть, потому, что Мырзакул поднял ворот шинели, сейчас особенно бросалось в глаза, как он похудел, ссутулился, как низко опущено его искалеченное безрукое плечо. ..

Все перепуталось в ее голове, сухой звон снега под ногами резко отдавался в висках. Вплоть до самого дома Сейде испуганно оглядывалась и прикрывала платком дрожащие губы.

Вчера аил облетела черная весть. Женщины в табачном сарае перешептывались между собой, а когда мимо проходила Тотой с тюком табака на спине, они скорбно замолкали. Одна из них, в черной шали, не удержалась и шумно всхлипнула:

- Несчастные сироты! Пусть ваше горе падет на голову германа!..

В сельсовет пришло извещение о том, что Байдалы погиб под Сталинградом.

В последнее время то на том, то на другом краю аила часто слышатся траурные крики.

В такие скорбные дни ей хотелось убежать куда-нибудь в горы, в безлюдное место и причитать там в одиночестве, чтобы никто ее не видел и не слышал.

Вот теперь дошла очередь и до Тотой. Бедная Тотой, она еще не знает, какое горе свалилось на ее плечи! Извещение о смерти Байдалы хранилось пока у Мырзакула. У киргизов не принято говорить о таких вещах сразу. Время, когда сказать, должны определить старики.

Мырзакул спросил у аксакалов совета, как поступить с извещением о смерти Байдалы. " В такую тяжелую годину не смеем мы сказать ей о смерти мужа. Если у Тотой опустятся руки, что будет с ее детьми? Нет, не можем мы лишить ее последней надежды. Лучше отложить это дело до осени: соберем урожай, пусть народ немного насытится. Вот тогда известим округу о гибели нашего батыра и всем аилом справим поминки с подобающими почестями..."

Весь аил нашел это решение стариков разумным. До осени никто не имел права заговорить о смерти Байдалы. Но женщины в табачном сарае не утерпели, всплакнули украдкой: ведь Тотой ничего не знает.

Ночью пришел Исмаил, и Сейде рассказала ему о судьбе их соседа Байдалы. Исмаил на это ничего не сказал, только непонятно пожал плечами. Бог знает, о чем он думал. Может быть, в душе пожалел Байдалы, а может быть, и нет. Даром он, что ли, в бегах, даром, что ли, бережет свою жизнь? А Байдалы, очертя голову, бросился на мину. Ну и погиб. Так оно и должно было случиться. Нет, лицо Исмаила непроницаемо, он не скажет ничего.

Молча выхлебав большими, гулкими глотками полную чашу похлебки, Исмаил недовольно буркнул: - Еще есть?

"Куда уж ему тут горевать по другим? Сам день и ночь на холоде, глаз не смеет показать, да к тому же день сыт, день голоден..." - думала Сейде, оправдывая Исмаила.

Проводив его, она долго не могла уснуть. Ей жутко было представить, как сейчас в морозном поле, по зарослям чия кружится с посвистом злой ветер, а Исмаил, один средь ночи, пробирается к себе в убежище. А тут еще сын расплакался. Плохо спалось в эту ночь.

Утром прискакал почтальон Курман. Полы его шубы разметались в стороны, он был чем-то сильно встревожен.

- Сейде! - застучал Курман в дверь.- Из района прибыл инкуу*, срочно требует тебя! Собирайся живей!

* *Инкуу - от слова "НКВД".*

Сейде выбежала на стук и все сразу поняла. Даже не спросила, зачем ее требуют. Молча стиснула зубы. "Исмаил, родимый, как же быть теперь?" - пронеслось в ее голове.

- Вот еще несчастье-то! - с досадой проговорил Курман. Неизвестно, к кому относились эти слова Не сказав больше ни слова, он стегнул лошадь и ускакал.

Сейде не помнила, как она добралась до сельсовета. Дрожащей рукой отворила дверь. За столом сидел человек в шинели, с кобурой на боку. Разглядеть его Сейде не могла, голова ее кружилась, земля уходила из-под ног. Но сейчас, когда Сейде вошла в сельсовет, в ней вдруг проснулась отчаянная решимость, в которой потонули все ее колебания: "Не отдам Исмаила! Не отдам!"

- Садитесь,- сказал оперуполномоченный НКВД. Сейде, как во сне, нащупала табуретку и села.

Закончив расспросы, уполномоченный долго писал, испытующе поглядывая на нее и о чем-то раздумывая. Потом сообщил, что ее муж дезертировал из эшелона, прихватив с собой винтовку с патронами.

- Где он сейчас? - спросил уполномоченный.

- Не знаю, я ничего не знаю,- ответила Сейде.

- Вы не скрывайте, мы его все равно найдем. Если желаете ему добра, пусть объявится по своей воле. Вы должны нам помочь.

Что бы уполномоченный ни спрашивал, как бы ни убеждал, Сейде на все отвечала коротко: "Не знаю". А сама думала: "Не враг я себе. Делайте, что хотите, хоть убейте, ничего не скажу!"

Когда допрос кончился, Сейде пошла к дверям, напрягая все силы, чтобы не упасть, чтобы идти прямо. У выхода на улицу ей встретился Мырзакул. Он порывисто шагал от коновязи, на ходу докуривая цигарку. Напряженный и какой-то нездоровый был он сегодня. Лицо осунулось, на скулах расплылся неяркий, тусклый румянец, под вытертым сукном шинели, угловато выпирая, подергивалось безрукое плечо, тебетей был плотно надвинут на брови.

Увидев Сейде, Мырзакул остановился. Окинул ее цепким взглядом исподлобья.

- Была там? - кивнул он на дверь.- Сказала?..

- А что мне сказывать? Я ничего не знаю,- ответила Сейде.

- Во-он как! - Мырзакул помолчал, горько усмехнулся, потом бросил окурок, растоптал его сапогом и резко вскинул брови.

- Ты думаешь, доброе дело делаешь для него?- спросил он в упор.- А совесть перед народом? Куда ты ее денешь? Мы все мужчины из потомков Давлета, все, кто носит тебетей на голове,- мы все пошли, ни один не остался. В добрые, в лихие ли дни - упаси бог отойти от народа! Позор всем нам! Ты понимаешь это? Пока не поздно, приведи Исмаила, пусть он воюет там, где все.

Сейде стиснула запрокинутые на шею руки. Еще одно его слово, и все будет кончено: она не выдержит, упадет на землю и признается во всем...

- Ты... ты меня совестью не бей! - исступленно крикнула она.

И это было все, что она могла сделать. Ослепленная отчаянием и яростью, она рванулась к Мырзакулу:

- Может, он и сбежал! Откуда мне знать? Каждому своя жизнь дорога, каждый себя бережет. А тебе-то что? Или тебе мало места в аиле? Или ты хочешь, чтобы все вернулись такими же калеками, как ты?

Мырзакул оцепенел, культя его судорожно взметнулась, лицо исказилось болью и гневом. Он долго хватал ртом воздух.

- З-значит, я в-вернулся калекой потому, что я д-дурней твоего Исмаила?

- Мырзакул кинулся в сторону, нагнулся, словно ища что-то на земле, потом подбежал к Сейде, занес над головой камчу (кнут) и начал хлестать Сейде по плечам. Она не вскрикнула, не отшатнулась. На какую-то долю секунды мелькнули перед ней до крови прикушенные губы Мырзакула, его страшные, горящие ненавистью глаза. Широко размахнувшись, Мырзакул закинул камчу на крышу и побежал прочь, прижимая к груди, как к кровоточащей ране, скомканный в кулаке рукав шинели.

Он бежал, не оглядываясь, по огородам, через сугробы и арыки. Потрепанная полевая сумка отчаянно хлопала его по бедру.

Все еще не понимая, что произошло, Сейде с ужасом смотрела ему вслед. Только теперь она почувствовала, как горят ее избитые плечи. Обида душила ее, хотелось закричать, громко заплакать.

Вернувшись домой, Сейде ткнулась лицом в худые колени свекрови и, обнимая безответную, безропотную старушку, зарыдала:

- Бил меня Мырзакул, мама, бил...

Она плакала долго и безутешно. Сквозь слезы смутно слышала прерывистый голос свекрови:

- Родимая ты моя, дитя мое, кормилица... Вся надежда на тебя, ты наша опора... Все вижу, все знаю. Век мне молиться на тебя... Стерпи уж эту обиду, смолчи... А нас с Мырзакулом пусть бог рассудит, забыл Мырзакул родовой долг...

Ночью Сейде встретила Исмаила у оврага. Он вернулся в пещеру, не заходя в аил.

К весне у многих аильчан хлеб подошел к концу - остатки выскребали. Только и речи было - поскорее бы уж отелились коровы да дождаться бы молодого ячменя, а там пшеница подойдет. Но сказать легко, а попробуй дождись.

"Весной скот тощает, кость гнется". Человеку тоже не легче...

Сейде переживала самые тяжелые дни. После ее столкновения с Мырзакулом Исмаил перестал ходить домой, ни днем ни ночью он не покидал пещеры.

Отправляясь за хворостом, Сейде сама приносила ему пропитание, а если не удавалось днем, шла ночью. Все бы ничего, но одно ее очень тревожило: Исмаил стал ненасытный. Сколько ни принеси, все подберет до крошки: может, и наелся уже, а глаза по-прежнему голодные, жадные…

Теперь Сейде вставала с рассветом и отправлялась на прошлогодние гумна. Там она расстилала на снегу мешковинный полог и до самого вечера перевеивала полову, перекидывала солому. То, что осенью ушло в охвостья, сейчас она вывеивала, собирая по зернышку. За день набирался кулек сморщенных, щуплых зерен. По ночам Сейде молола их, пекла Исмаилу хлеб. Но до каких же пор можно так перебиваться? Была у Сейде заветная мечта - о телке. Пошли корове Бог благополучно отелиться, тогда и молоко будет у Исмаила и масло. Замкнулся Исмаил в себе, озверел, будто весь мир ненавистен ему, всегда тупо молчит, ни одного хорошего слова от него не услышишь... Что у него на уме? О чем он неотступно думает? А если откроет рот, больше всего говорит о еде, и думает, вероятно, только об этом. Когда речь заходит о мясе, во рту у него собирается слюна, и он сплевывает со злостью. Иногда ни с того ни с сего мрачно заявит:

- Кровь у меня стала холодная: воды в ней много: Очень много...

Что-то недоброе всколыхнется в глубине его глаз, и опять молчит, упорно молчит. О чем он думает в такие минуты? Как бы не потерял рассудка...

"Может, он тоскует по сыну?" - подумала однажды Сейде. На другой же день, выкупав ребенка, она надела на него чистую одежонку, укутала и вышла с ним на улицу.

- В гости к своим схожу, в Малое ущелье,- отвечала она на вопросы соседей.

А сама пошла к Исмаилу. В этот день Сейде была счастлива. В аил вернулась через сутки...

Весна обещала быть ранней. Сегодня с самого утра теплынь, талая вода журчала в арыках, подтачивая осевшие, набрякшие влагой сугробы…

Вон за тем неприступным хребтом, за нетронутыми сине-белыми снегами лежит Чаткал.

Скорей бы пришла весна, скорей бы дождаться начала лета...

Но то, что ждала Сейде, заключало в себе гораздо большее. С открытием пути через неприступный в другие времена года снежный перевал - открывался путь на Чаткал, путь к спасению мужа и всей семьи. И она хорошо понимала: то была для них единственная возможность, единственный выход...

И для Исмаила, одичавшего, оглохшего от собственного плена, свет забрезжил впереди.

Мать Исмаила - тихая, болезненная старушка Бексаат в ту зиму жила жизнью крота, затаив- шегося в норке под кучкой земли и лишь изредка высовывающегося, чтобы глянуть - стоит ли мир на месте. При том положении, что приходилось скрывать от других сына-дезертира, чутье подсказывало ей никуда не выходить со двора, нигде не показываться, избегать лишних встреч и разговоров с односельчанами. Иного образа поведения трудно было придумать.

Сидела с внучонком дома, с нее и спрос был не более того.

Самое же главное - такая жизнь матери вполне устраивала сына и невестку. На нее они могли положиться. Не будь старухи, как бы они выходили из положения, как бы Сейде могла оставить ребенка дома, чтобы сходить за хворостом, а заодно и в убежище мужа в предгорьях.

Сколько раз, бывало, до случая избиения ее Мырзакулом, предупреждала Сейде сама свою свекровь уметь держать себя, если вдруг кто спросит о сыне. Старая Бексаат понимающе кивала при этом. Она обычно молча слушала невестку, когда они, усыпив малыша, невольно начинали разговор все о том - как быть, что будет...

- Боюсь, боюсь, Сейде, чем все это кончится! Сейде при этом отчаивалась в душе, но виду не подавала, приходилось делать над собой усилие:

- Успокойся, эне, зачем плакать заранее. Вот теплеет, снег сойдет, земля просохнет, все легче станет и ему, и нам,- приговаривала она, чтобы только не всплакнуть самой. В ожидании Исмаила - он появлялся обычно к полуночи - принимались за дела, чтобы накормить и согреть его с дороги и чтобы к рассвету он снова покинул аил. Перед приходом мужа Сейде выходила во двор, чтобы предупредить, если что. Сейде ждала с тревогой появления Исмаила и тем временем обращалась мысленно к звездам и луне. Только им могла она излить изболевшуюся душу, только к ним обратиться, чтобы они, каким-то чудом услышав ее, оберегали бы ее мужа, малыша, старуху и саму ее от тех, кто как только узнает, что Исмаил дезертировал из армии, так повяжет их всех и погонит в Сибирь на издыхание. "Услышьте меня,- творила она свою звездную молитву,- только вам скажу.

Сколько будет длиться эта большая страшная война в тех краях, куда всех гонят воевать? Сколько можно так, как мы теперь, жить, скрываясь ото всех, а вдруг узнают, тогда что?.. И его жалко, одичал уже, один, как волк без стаи. Тяжко ему. Кашляет крепко, простыл. И дома, почитай, все на исходе. Картошки в погребе едва-едва, той, что на семена оставляли, да и та прорастает. А с мукой еще хуже. Уж как мы бережем каждую горсточку, а хлеб печем только для него, а сами только на кукурузной каше... Неужто и в прошлые времена людям жилось так худо? Говорят, что и прежде бедности было много, но войны такой не было. Лучше быть бедняком, но только не бежать ни от кого и ни от чего..."

Если Исмаил запаздывал почему-либо,- иногда он долго выжидал, чтобы во всех домах погасли окна, чтобы ни с кем не столкнуться невзначай,- то и Сейде оставалась ждать его за сараем терпеливо и верно. Когда Исмаил возникал поодаль в темноте, Сейде, позабыв обо всем, уводила его домой... А на рассвете он снова исчезал.

Обстирывать его было не трудно, но сушить мужнины рубахи и штаны во дворе Сейде не решалась. Вдруг кто-нибудь заглянет и спросит - что тогда сказать? И потому выстиранное белье сушила у очага старая Бексаат.

И вот однажды, сидя у очага с просушкой на слабеющих старческих руках, заплакала она тихо и сказала, обращаясь к снохе:

- Сейде, все хочу сказать тебе - что-то у меня внутри, болезнь какая-то нехорошая. Все время боль в боку, как камень давит. Сплю - давит камень, хожу - давит. Чувствую, силы уходят.

- А что же ты молчала? И давно? - Сейде теперь только убедилась, как сильно сдала старуха, как померкли глаза, и поняла, чего той стоило молча, безропотно сносить снедающий изнутри недуг. И ей стало не по себе.- А я и не замечала,- сказала Сейде виновато.- Надо же что-то делать, если так.

- Да я не об этом, доченька. Есть другая боль, которую я с собой не унесу. Моя боль, что внутри, уйдет со мной. Но, как подумаю, что будет с вами, как же жить, сколько можно терпеть и ему, и тебе такую жизнь, что глаз нигде не поднять...- и она расплакалась, еще больше комкая в руках полусухое белье.

- Ведь человек не может жить без людей. Он потому и человек, что с людьми. И его, единственного моего, жалко, не могу пересилить; если женщина змею родит, то и змея для нее своя плоть, как своя печень, не отделишь от себя. А он для меня все, ради чего жила на свете. Мне ли тебе рассказывать. Ты сама уже мать. И вот хочу тебе сказать: сама знаешь, родом мы не здешние. Появились мы здесь - я на сносях твоим Исмаилом была. Сынок народился и вроде зажили, а муж мой - все хуже и хуже ему со здоровьем. Кашлял сильно, легкими страдал. И через пять лет он умер.

И осталась я одна с пятилетним сыночком. И тогда после поминок приехали мои братья, ты их не знаешь.

- Слышала, знаю. Сама как-то говорила. В Чаткал они подались,- подсказала Сейде.

- Верно, верно. Я же тебя сама предупредила, чтобы ты об этом никому не говорила. А братья мои были люди крепкие, работящие. Приехали и говорят, мол, давай мы тебя к себе поближе переселим. Здесь ты одна, а при братьях вернее будет. Переезжай, мы тебе поможем, а там как судьба... А я им говорю: спасибо, братья мои. Послушалась бы вас, да дайте срок. Годовщину покойника отмечу здесь, а там видно будет. А через год, после поминок, пока я думала да собиралась, начали народ кулачить. Ну, и тут уж им не до нас было. Оба мои брата - Усенкул и Арын догадались вовремя оседлать коней да махнуть за перевал, в самый Чаткал. А с ними и семьи перекинулись туда же. Ну, и осели там. В тех Чаткальсих горах только летом на один месяц открывается перевал, а в другое время туда только птица разве может пролететь, да и то замерзнет на лету, пока одолеет те хребты да горы. Вот они туда и ушли, чтобы с глаз долой.

И тут ее осенила какая-то смутная догадка, но настолько неопределенная, что она и не стала додумывать ту мысль до конца, а лишь спросила старуху:

- Так что, эне, что ты хотела сказать - о Чаткале ты говорила?

- А то, вот что сказываю,- ответила та.- Так вот, братья мои подались с семьями в самый Чаткал. Как в воду глядели. В тех далеких горах никто никому не власть. Горы там всему власть: сумеешь прижиться, скотом обзавестись - выживешь, не сумеешь - никто не виноват: иди дальше, к узбекам спустишься с гор. Братья снялись да ушли, а дома их соседи, разорили дотла. Да только проку никакого не видели, хоть и награбили. А потом голод нагрянул. Ну, а перед этим мало-мальски
хозяйственных людей всех покулачили. По всем аилам как метлой прошлись. Многие так и сгинули в Сибири. А мои братья уцелели. Больше мы не виделись, правда. Говорят, и там они корни пустили, зажили неплохо. Они теперь чаткальские аксакалы. А живут вроде неплохо.

- Ну и что? Ты к чему все это, эне?

- Да к чему? А к тому, что думаю я вот над судьбой своей, над жизнью вашей. Ведь вроде все обошлось. Когда братья в Чаткал ушли, осталась я одна. И одолела судьбу, как бы трудно ни было. В колхозе работала. Сына вырастила. Трактористом стал, а тут война. Сын несчастный в бегах, и проклясть его не могу, не он затеял эту

войну, не хочет он погибать, и ты мыкаешь теперь горе, и ребеночек ваш, внучонок мой, спит, как птенчик, а что будет с ним? И никто не должен знать, и все надо скрывать...

- Это все верно,- тяжко вздохнула Сейде, перебирая при свете лампы чашку зерна на помол.- Что ж, значит, мы с тобой такие горемычные. Ну, мы-то как-нибудь дома сидим, в тепле. А каково ему, в пещере?

- Вот и я об этом,- вставила старуха Бексаат, отворачиваясь сама от своих же слез, вытирая их бельем.- Не могу я собственного сына проклясть, но и помочь тебе с ним тоже нечем, вот совсем разболелась. Вот и думаю я, часом, а не двинуться ли вам, коли дотянем до лета, в Чаткал. Берите дитенка и уходите, там вы найдете моих братьев или их детей, а мне куда - я уж останусь умирать...

- Постой, эне, постой! - перебила ее Сейде.- В Чаткал, говоришь,- и сама обрадовалась: ведь и она подумала где-то об этом.- Только давай поразмыслим как следует,- предложила Сейде, и они невольно замолчали. Свекровь принялась досушивать белье над огнем, а невестка сосредоточенно выбирала сор из кучки пшеничных зерен. Потом они снова заговорили.

В ту же ночь, не откладывая, когда пришел Исмаил домой, Сейде поведала ему о чаткальском замысле. И это явилось поистине великим событием. Впечатление было такое, точно бы перед взором Исмаила вдруг открылась дверь в глухой, крепостной стене. Он был потрясен и удивлен тем, что дома мать и жена нашли верный ход, путь к спасению, ибо ему открылся выход из собственного плена.

- Вот это да! Как вы могли придумать такое! - не переставал Исмаил удивляться и восхищаться.- Да ведь на Чаткале у меня, выходит, и в самом деле родные дядья живут. Да это же сам Бог послал, сам Бог велел, тут и думать нечего. Только бы теперь дожить до лета, дотянуть, а там, как только откроется перевал, не терять ни одного дня, ни одного часа... И как это мне в голову не приходило.

Радости Исмаила не было предела. Его охватило ошеломляющее озарение. Еще ничего не произошло, еще стояла стылая зима, впереди предстояла слякотная, дождливая весна, еще далеко было до лета, еще не сошли снега в предгорьях, еще не забушевали дикие паводки с Великих гор, еще не сошли грозные обвалы и оползни на пути, еще ничего не было готово для такого тяжелого похода, все еще было впереди, а Исмаил уже не находил себе места. Его радовало, что
жена и мать понимали его и полностью разделяли его чувства, потому что они знали, чего стоит каждая минута его дезертирской жизни, ибо человек в его положении, спасая свою голову, по сути дела вступал на смертельный путь, как и на войне. Там его могли убить враги, здесь его могли убить свои...

За этой беседой, взаимно обнадеживающей, предупредительной и потому облегчающей души, проходила ночь. Особенно Исмаил был в ударе. Раза два брал на руки спящего Амантура, тискал его, целовал и шептал ему: "Вот мы с тобой двинем на Чаткал, к дядьям нашим. И будем там как люди, как все. Приучу тебе маленького лошаденка, чтобы скакал ты на нем по горам. То-то будет весело, бабка и мать перепугаются, а?"..

Вскоре запели дальние петухи, а потом и у соседей. Исмаилу пора было уходить. Он засобирался и перед выходом склонился над малышом, потом сказал матери несколько слов на прощанье. Было уже сумеречное предрассветье. И все в аиле еще спали.

Сейде вышла его проводить и во дворе сказала мужу:

- Слушай, Исмаил, если завтра ночью я не буду тебя поджидать вот здесь, то ты не заходи домой, сразу возвращайся к себе.

- А что, что такое? - встревожился Исмаил.

- Мне кажется, мать тяжело больна. Она не показывала вида, это чтобы тебя не расстраивать. А лечить ее надо. Лекарю надо ее показать.

- Вон оно в чем дело,- протянул Исмаил.- Больна, говоришь, тяжело. Ладно, учту. Лечи. Может, травы какие помогут.

На том они попрощались. Сейде долго еще провожала его взглядом. Он шел задами по своей знакомой тропке. Сейде представила себе, как в полном безлюдье, скрываясь среди зарослей чия, дойдет он до своего укрытия в предгорьях и заляжет спать, укрывшись тяжелой шубой. В этот раз, однако, на душе у нее было полегче, ибо появилась цель, ради которой им стоило жить,- готовиться к уходу на Чаткал.

Когда же Сейде вернулась в дом, то буквально с порога навалилась поджидавшая беда - свекровь тихо стонала в забытьи. Старушка было плоха.

- Эне, успокойся. Сейчас тебе станет легче, возьми себя в руки. Сейчас я тебе помогу!

Я сейчас приложу сюда горячую кошму, а потом раскаленные зерна. И чаю горячего... Ты только потерпи. Сейде лихорадочно думала, как же ей быть теперь.

Следовало в таких случаях незамедлительно показать больную знающим людям. А пока она уложила старуху в постель, и та, пригревшись, стала чуть меньше стонать да охать.

Было уже утро. Быстренько накормив ребенка, Сейде понесла его к соседке Тотой, чтобы та час-другой присмотрела за малышом, а сама пошла к знахарке. Но её посещение носило чисто сострадательный характер: она посоветовали призвать большего лекаря - старца Эмчи-Мусу, того, что жил за рекой, в маленьком аиле Арча.

Быстро шагая по кочковатой, смерзшейся земле, тяжкую думу несла в себе Сейде, и тяжкую и мятущуюся в поисках выхода из безвыходного, отчаянного положения. Все надежды ее были теперь на исцелителя Эмчи-Мусу. Старец был знаменит в округе, лечил травами и молоком. И теперь Сейде молила бога, чтобы он осенил Эмчи-Мусу таким исцелительным таинством, когда бы за несколько дней старая Бексаат распрощалась с хворью и снова приглядывала за домом, и снова ждали бы они ночами Исмаила и вели разговоры о сборах, считали бы дни, когда им суждено будет с поклажей на двух ослах двинуться всем в Чаткал...

Как и обещал старец Эмчи-Муса, он прибыл к вечеру. А перед этим Сейде вышла из дома и стояла на пригорочке, поджидая лекаря, чтобы старец безошибочно нашел их двор.

Эмчи-Муса был крупным стариком, смуглолицым, с крючковатым большим носом, с белой бородой и очень внимательным, внушительным взором. И в этом взгляде и в голосе была его сила.

- Что же ты мерзнешь здесь, доченька, я бы и сам нашел дорогу, спросил бы, где дом старухи Бексаат,- пробасил он, приближаясь к тому месту, где ждала его Сейде.

- Не беда, не беспокойтесь, я не мерзла,- ответила Сейде.- Кого же ждать нам, если не такого человека, как вы, Эмчи-ата! - промолвила она, улыбаясь старику.

- Ну-ну,- продолжал тот,- так веди меня, где она там, бедняжка Бексаат, что там с ней? Вот беда-то. Сын на войне, сама больная, холод и голод кругом...

Старец семенил на ослике, приближаясь к дому, она шла рядом. Сейде помогла старцу сойти с седла и повела его в дом. И когда они подходили к дверям, Эмчи-Муса приостановился:

- Доченька, я понимаю, как тебе тяжело,- промолвил он, внушительно и даже сурово глядя ей в лицо.- Будем надеяться, что все обойдется к лучшему. Но когда я буду осматривать и скажу, как лечить,- травы я с собой привез, вот они в сумке,- то запомни, ни о чем не допытывайся и не расспрашивай сверх того, что я сам скажу. Ты поняла меня?

- Да, Эмчи-ата, я поняла вас.

Вначале, когда Эмчи-Муса переступил порог, он улыбнулся из-под седых усов больной, лежащей в углу:

- Что это ты надумала, Бексаат, не ко времени разболелась. Повременила бы.

У свекрови не хватило сил ответить лекарю в этом тоне.

- Тяжко мне, Эмчи-Муса,- с усилием, с надрывом простонала старушка.- Может, снадобье какое подскажешь.

- Ну-ну, сейчас, сейчас подумаем.

Сейде молча стояла в углу, чтобы не мешать. И пока Эмчи-Муса занимался своим делом у постели больной. А тем временем Эмчи-Муса, сосредоточившись, точно бы он улавливал неведомые другим звуки, хмуря брови, прощупывал Затем лекарь долго водил ладонью, то слегка прикасаясь, то вдавливая пальцы, по животу, по бокам больной и, находясь подле нее, молча обдумывал нечто, только ему известное, и чем дальше, тем больше мрачнели его глаза. От Сейде это не прошло незамеченным.

Старый Эмчи-Муса не сразу ушел, не сразу взгромоздился на своего ослика, было уже темно, когда он попрощался с Сейде на дворе:

- В доме теперь одна не оставайся,- сказал он ей.- Меня больше не ждите.

Она поняла с полуслова, о чем шла речь. И когда старый знахарь округи Эмчи-Муса скрылся на своем ослике во тьме, ни разу не оглянувшись, она почувствовала охватившее ее великое, безмерное одиночество перед лицом некоей бестрепетной силы, вторгшейся в ее жизнь, как резкий ветер в окно. И она сказала себе, что будет находиться у изголовья свекрови до последнего ее дыхания и за себя, и сына, и за родных ее братьев Усенкула и Арына, убежавших от раскулачивания в Чаткал. За всех и за все брала она теперь на себя последний долг живых перед умирающей свекровью.

Измученная, исстрадавшаяся старушка медленно угасала, а в доме было уже много людей, прослышавших от соседей о последнем часе старой Бексаат. Люди тихо приходили и скорбно уходили, сочувствуя, сострадая, выражая свое отношение в тяжелых вздохах, иные без лишнего шума принимались делать по дому то, о чем следовало заранее позаботиться в таких случаях: приносили дрова, кто чашку муки, кто ломоть топленого сала, собирали по соседям посуду, раскидывали по двору солому под ноги...

Так протекала та скорбная ночь у изголовья свекрови.

Среди многих дум, передуманных Сейде, то и дело вкрадывалась как бы со стороны тревога за мужа. Как-то он там, ее Исмаил. Как ему быть теперь, когда мать умирает, а ему ни прийти, ни показаться нельзя... Отчего же все так? Оттого, что он хочет жить по-своему, а закон, людской сговор, велит по-иному. А сила на стороне закона, большинства, а он бежит от закона.

* * *

Он шел в ту ночь, как всегда, по хорошо изученному пути, вначале под малыми увалами предгорий, потом среди зарослей чия в суходоле, выходил краем поля к обрыву, откуда уже виднелся аил в лунную погоду: крыши, трубы, освещенные окна. И Исмаил отсюда с крайней осторожностью двигался огородами, прислушиваясь, оглядываясь, к своему двору.

Последний отрезок пути и в этот раз он проделал с тщательной осмотрительностью, но чем ближе подходил к дому, тем тревожней и неуверенней становилось на душе Исмаила. Что-то подозрительное насторожило Исмаила, и он остановился под тополем на огороде тетки Тотой. Дальше он не пошел. Долго унимал зачастившее вдруг дыхание. Сердцебиение не успокаивалось, сердце чувствовало какую-то беду. Значит, Сейде была права - с матерью плохо.

При этой обжигающей мысли Исмаилу стало не по себе. Он сдавленно застонал, прижимаясь к стволу дерева. И, прислушиваясь, убеждался - на дворе хождения, голоса, в доме люди. Значит, дело гиблое. Сердцем он был готов кинуться в дом, растолкать собравшихся, перепугать их своим диким видом и неожиданным появлением, броситься к матери - быть может, она умирает! - и разрыдаться, целуя ее холодеющие руки, утонуть, уплыть в плаче, в покаянии за то, что заставлял ее так страдать, как никакая другая мать не страдала. Но разум охлаждал эти сиюминутные слабодушные порывы. И он не сдвигался с места, казнил себя, проклинал, но не собирался объявиться на людях столь сумасшедшим образом, даже если мать была при смерти. Утешал же он себя тем, что мать простит ему, что она молила Бога, чтобы он уберегся, ушел бы и не появлялся ни в каком случае. Он остановился за сараем и тут уже наяву услышал хождения и людские голоса. Вот кто-то кашлянул, кто-то выплеснул воду из ведра. Послышался конский топот и кто-то кого-то спросил:

- Ну что, Мырзакул, плохо что ли?

- Да, надежды мало,- ответил тот.

Потом звякнуло стремя, ударившись о что-то железное, и топот копыт удалился со двора.

Исмаил понял, что то был Мырзакул, дальний родственник, которого он не видел давно, по крайней мере, тогда у него обе руки были на месте, а теперь, сказывают, потерял руку на фронте и теперь его зовут однорукий Мырзакул. Ну, председатель сельсовета. Ну и что? А без руки, это же представить себе, как жить без одной руки! А он, Исмаил, не захотел оставаться без руки, тем более без головы. За это вот расплачивается, за это казнит себя и бережет... Но лучше бы он не подходил ко двору и не прислушивался к тому, что делается там. Совсем расстроился, извелся духом. И ничего иного не оставалось Исмаилу, как потихоньку возвращаться назад. Было уже далеко за полночь, когда он последний раз обернулся на оставшийся внизу аил - все было во мраке и только в одном месте светились не угасая два окошка рядышком. То был его дом, а в доме том умирала его мать.

Рано утром Исмаил уже шел, прячась по неприметным местам, снова в направлении аила. Нет, не улеглась встревоженная накануне душа, тянуло его поскорее к аилу, к дому, хотя что это могло дать, каким образом что-то прояснить - Исмаил не мог ответить себе. И однако он шел.

Так и промаялся он, затаившись в кустах до полудня, лежал, продрогший, угрюмо прислушиваясь и тщетно вглядываясь. Потом ушел в укрытие и к вечеру, зло озираясь по сторонам, снова вернулся на прежнее место наблюдения. И в этот раз он понял, чутье подсказало, что мать скончалась. Во дворе горел костер, должно быть, грели воду в большом котле. Значит, хоронить будут завтра. И тут только подумал Исмаил, что надо ведь заранее выкопать могилу. Кто же это сделал? Откопали яму или на утро оставили? Решил на обратном пути заглянуть на кладбище и удостовериться, готова ли могила. Так стоял он под тополем удрученный, растерянный и подавленный.

Потом он тихо побрел окраиной в сторону большого аильского кладбища на косогоре. На старом косогорном кладбище он не бывал так давно, что и не помнил, когда он тут ступал в последний раз. Помнится, еще до войны, после курсов трактористов, посадили его вначале на конную сенокосилку, а сенокос был возле кладбища и тогда он в полуденную жару, выпрягнув коней, ходил с парнями ловить перепелов. А перепела паслись в неприкасаемых густых кладбищенских зарослях, поскольку никто, конечно, не посмел бы косить сено среди могил. Сейчас он вспомнил об этом, о тех безмятежных летних днях, о душистых травах, о стрекочущих кузнечиках, о птицах, самозабвенно поющих и на небе и на земле, о солнце, которое столь обильно, что его никто и не замечал. Думал ли он тогда, что пройдут годы, и будет он, как затравленный зверь,

пробираться темной зимней ночью на кладбищенский косогор, полный жгучей обиды, страха, ненависти ко всему, что привело его в это состояние. Не верилось Исмаилу, что это то самое место. Могила для матери оказалась уже готовой, начисто отрытой. Это не трудно было обнаружить по свежей глиняной насыпи возле зияющей ямы.

На другое утро Исмаил снова потащился в сторону аила. Продрогший в своей пещере, он брел, зябко поеживаясь и кашляя, прикрывал рот ладонью. В этот раз он шел в сторону кладбища с тем, чтобы если и не участвовать на похоронах матери, то хотя бы издали наблюдать, как другие будут ее хоронить.

По пути он приглядел удобную для себя балочку, двигаясь по дну которой, он мог незаметно сопровождать процессию, так чтобы оставаться незамеченным и в то же время быть достаточно близко к кладбищу.

Похоронную процессию Исмаил увидел еще издали. Большая толпа людей, многие среди них были верхом на лошадях и ослах, показалась в боковой улице, как и ожидал того Исмаил.

Вот и все. В последний путь провожали старушку Бексаат односельчане. О чем говорили люди при этом, Исмаилу не дано было знать. Судя по всему распоряжался погребением Мырзакул.

Когда народ ушел с кладбища, когда не осталось ни одной души, но голоса еще были слышны на отдалении, Исмаил пополз к могиле матери. Он полз с обезумевшим лицом, опираясь на дрожащие руки. И здесь он упал на свежую насыпь и, обнимая кучу глины, зарыдал удушливым, хриплым плачем...

"Совсем недолго осталось, вот и весна пришла. Больше терпела, а теперь-то и вовсе стерплю! - думает замечтавшаяся Сейде, пересыпая горстку зерен с ладони на ладонь.- Только бы Исмаила уберечь. В аиле поговаривают, будто Исмаил не здесь прячется, а на казахской стороне, у свояков... Вот и хорошо, пусть говорят... Продадим телку, припасем муки на дорогу, и ночью выберемся из аила, уйдем... Да, уйдем отсюда..."

Вечером, когда Сейде молола талкан, зашел Асантай. Мальчик заметно отощал за последнее время: под глазами густая синева, из засученных рукавов отцовской фуфайки высовываются тоненькие ручонки.

- Мама послала меня за огнем,- сказал он, застенчиво переступая с ноги на ноги то и дело поглядывая на кучку талкана у жернова.

Дети есть дети! Кого не тронет невинный взгляд мальчика, говорящий с мольбой, что он хочет есть! Сейде положила ему в ладошки горсть талкана. Мальчик запрокинул голову, насыпал талкана полный рот и, очень довольный, шмыгнул носом. Ему хотелось отблагодарить Сейде, сказать ей что-нибудь хорошее. Он доверчиво улыбнулся губами, измазанными талканом:

- Сейде-джене, когда отелится корова, мама нам сварит молозива. И я принесу кусочек вашему Амантурчику. Ведь он уже умеет кушать, да? Молозиво вкусное, как творог!

- Сердечный ты мой, да сбудутся твои желания! - растроганная Сейде привлекла его к себе, поцеловала в глаза.- Бог даст, будет и молозиво, будет и каймак, пусть только отелится корова! Вот тогда и принесешь нашему малышу, у него уже зубки есть!

Она вспомнила, что и Тотой, и ее дети все еще ничего не знают о гибели отца, все еще ждут писем. Ей показалось, что мальчик догадывается, о чем она думает. Спросила как бы между делом:

- Матери-то лучше стало? Вчера, кажется, ходила по воду.

- Сегодня опять лежит, голова болит. Я хотел остаться дома, чтобы помогать ей, а она не позволила, говорит: если не перейдешь во второй класс, отец, когда вернется, ругать будет.

- А то как же? Конечно, будет ругать. Вот вернется и...

Мальчик часто замигал длинными ресницами и как-то не по-детски безысходно и тяжело вздохнул.

- Ты что это, разве можно так вздыхать! - прикрикнула она на него.- Ваш отец вернется, только не вздыхай так, это нехорошо!

После того, как мальчик, взяв тлеющую кизячину, ушел, Сейде долго сидела, обессиленно опустив руки. Этот вздох мальчика, почти ребенка, потряс ее. Сам с ноготок, а все понимает сердцем. "Сирота! -думала она подавленно.- Да и Тотой, конечно, догадывается, только молчит... И что ж ей делать, бедняжке? Ну-ка, попробуй прокорми трех сирот. Колхоз помогает понемногу, только этим и живы. Недавно принесла со склада овса полмешка - все лучше, чем ничего... Только одна надежда у них теперь - на корову…

Долго еще сидела Сейде, погруженная в свои раздумья, и чем дальше бежали минуты, тем сильнее охватывала ее смутная тревога, из головы не выходил мальчишка, его недетский вздох, его голодные просящие глаза. Сейде мучило предчувствие беды

Утром Сейде пошла по воду. Тучи уже плотно затянули небо, большими хлопьями валил мокрый весенний снег. Только вышла за огород, как во дворе Тотой послышались крики, плачущие голоса. Разбрызгивая слякоть, галопом проскакали по улице верховые. "Что там у них стряслось?" - встревожилась Сейде. Бросив ведра, она побежала ко двору Тотой. "Решили, что Байдалы будут оплакивать осенью, неужели кто-нибудь проговорился?" - строила она догадки.

Обогнув дувал, Сейде сунулась во двор и сразу остановилась ошеломленная. Из гомонящей толпы вырвалась Тотой: волосы ее были растрепаны, чапан, надетый на один рукав, волочился по земле. Она побежала к дверям сарая и закричала истошно, колотя себя в грудь:

- Да вот же, милые мои, вот, родимые, посмотрите: сорвали замок и увели! О-о, горе мое, о-о, покарал меня Аллах! О-о, горе мое!

Кто-то крикнул, пересиливая голоса:

- А вечером ты сама ее привязывала? Сама запирала дверь?

- А то как же, родимые, сама, сама! И даже вымечко щупала, наливала она вымечко... Ребята совсем извелись, только и ждали молочка! Как же мне не приглядеть за коровкой, хоть и больная я была! А чтоб руки у меня отсохли!

Когда Сейде поняла, что случилось, ее охватил ужас. Вспомнила она, как вчера прибегал Асантай и как он говорил о молозиве, ждал молока, словно необыкновенного сказочного чуда.

"Кто это мог решиться на это, какая подлая, черная душа?" - негодуя, думала Сейде. В лицо били мокрые хлопья снега и струйками стекали за шею, она все стояла и не могла сдвинуться с места, смотрела, как ребятишки Тотой с ревом цепляются за полы ее чапана. Самый меньшой вскочил, видно, прямо с постели. Он бегал за матерью босиком по снежной жиже и в страхе кричал:

"Мама, мама!" Но Тотой будто не замечала его, металась по двору, выкрикивая осипшим, надорванным голосом.

- Если бы Байдалы был дома, какой вор посмел бы зайти во двор! Будь проклят дом без мужчины!

"Дитя застудится совсем, посинел весь!" - прошептала Сейде. Она хотела подбежать к ребенку, взять его на руки, но тут из толпы вышел почтальон Курман. Остановив малыша, он молча посмотрел на его покрасневшие ноги в снегу и грязи, потом быстро развязал кушак, сгреб мальчика в охапку и, прикрыв чапаном, понес к себе.

Почти весь аил сбежался во двор к Тотой. Неслыханное дело! Правда, случалось и раньше - уводили со двора коров или овец. Бывало это. Но сейчас народ сбежался не только потому, что украли скотину, а потому, что вор поднял руку на самое святое для всех людей в аиле: "Кто посмел тронуть сиротскую семью Байдалы?" Люди угрюмо молчали, но в душе у каждого звучали проклятия. Мырзакул уже несколько раз пронесся мимо двора на коне, кружил где-то по улицам и наконец прискакал вместе с табунщиком Барпы. Как вихрь, ворвался он во двор в шинели с мотающимся из стороны в сторону рукавом, жестко осадил коня.

- Давай собирайся, народ! - закричал Мырзакул.- Кто может, на лошади, а кто пеший, рассыпайтесь по всем логам и оврагам, ищите! Корова - полдела, а вот эту подлую собаку мы должны найти.

- Верно говоришь! - зашумел народ.- Вор не мог далеко уйти. Если зарезал корову, мясо найдется, а нет, значит, спрятал корову где-нибудь в старом кургане!*

- Так оно и должно быть! Пошли по курганам!..

Вместе с другими Сейде кинулась на поиски. За аилом люди разбрелись в разные стороны. Коршуном пригибаясь к шее коня, промчался за бугор Мырзакул, а в другую сторону, надвинув малахай на грозное скуластое лицо, поскакал табунщик Барпы. И Сейде вдруг ошеломила страшная догадка. Как она не подумала об этом раньше? "Что, если они найдут Исмаила?" Обезумев, она бросилась в сторону дальних лугов, поросших чием.Растерянная и жалкая, металась она во все стороны, пугливо осматриваясь вокруг: не видно ли кого, не идет ли кто-нибудь по ее следу?

"О Боже, если бы корова нашлась, на счастье этих детишек, то люди вернулись бы в аил! О Создатель, верни сиротам корову, молю тебя, я тоже мать, у меня тоже сын, молю тебя ради сына!"

С бугра на бугор, по оврагам бежала Сейде, и страстные заклинания срывались с ее губ. Вскоре ею целиком завладела мысль: если сейчас найдут корову, то народ вернется в аил. В этом ее единственное спасение, единственный для нее выход. Значит, надо найти корову, и как можно скорее, дорога каждая минута.

Собрав силы, она побежала дальше. Заглядывала под каждый куст чия, за каждый уступ, лазила по колючкам, изодрала платье. Но нигде не было видно следов коровы.

Вечером, когда Сейде, едва передвигая ноги, дотащилась до аила, кособокие двери коровника во дворе Тотой были по-прежнему распахнуты настежь. В коровнике зияла унылая пустота.

Дома, надрываясь, кричал ребенок. Должно быть, он плакал весь день.

Кое-как она уложила сына в бешик и, не раздеваясь, тут же свалилась на пол.

Ночью Сейде проснулась от стука в окно. Спросонок она чуть было не крикнула: "Кто там?", но спохватилась, поняв, что это пришел Исмаил. Она еще больше испугалась: "В аиле переполох, принесла же тебя сегодня нелегкая, боже мой!"

Сейде вскочила с места, открыла дверь, торопливо прошептала:

- Скорей, в аиле плохо! Быстро накинув крючок, она впотьмах повела Исмаила в комнату. Завесила окна и уже собиралась засветить фитиль, как что-то увесистое, шмякнув, выпало из рук Исмаила. Сейде похолодела: ей показалось, что это сердце ее оборвалось и упало на пол. Дрожа, она присела, пошарила вокруг себя рукой и нащупала что-то мягкое: это была торба с мясом.

- Так это ты! - сдавленно вскрикнула Сейде. Спазма перехватила ей горло.

- Тише! - Глаза Исмаила блеснули в темноте. Он придвинулся ближе и тяжело задышал ей в лицо.- Молчи, не твое дело!

Сейде молчала. В голове помутилось, будто кто-то грубо толкнул ее в грудь. Она сидела на полу и, чтобы не свалиться ничком, опиралась на руки. Было одно желание: выскочить из дома и с воплем бежать куда глаза глядят, лишь бы не видеть, лишь бы не

знать, что есть на свете такие люди. Но подняться не хватило сил. И даже на то, чтобы закричать, не хватило сил. Она очнулась, когда Исмаил глухо прикрикнул:

- Что сидишь, зажигай свет!

Сейде не шевельнулась.

- Зажигай, говорю, свет!

Исмаил наклонился и увидел, что Сейде ползет к нему на коленях...

- Ты... ты лучше бы зарезал нашу телку!

- Дура! - Исмаил схватил ее за плечо, рванул к себе.- Ты что болтаешь, не тебе меня учить! Если жизнь волчья, то и сам будь волком! Всяк для себя!.. Лишь бы самому нажраться... Какое твое дело до других? Хоть подыхай с голоду, никто тебе и ложки ко рту не поднесет. Всяк для себя! Кто рвет, тот и ест!

Сейде ничего не отвечала. Рука Исмаила сползла с ее плеча, нащупала ворот платья, туго сжала. Он с силой затряс жену, захрипел, изо рта его пахнуло полусырым недожаренным мясом.

- Ты что ж молчишь, а? Я тебя спрашиваю, что ты молчишь? Если бы я зарезал свою телку, откуда бы ты взяла молока для ребенка? Или чужие дети тебе дороже своего? А как бы мы добирались до Чаткала? Ты думаешь об этом или нет, а? Считанные дни остались, а ты хочешь, чтобы я сдох с голоду в этой пещере? Или другие тебе ближе, чем я? Ну нет, всю зиму я дрог на холоде, теперь хватит... Буду воровать, буду грабить; не для того я сбежал из армии, чтобы здесь околевать как собака! Я не дурак и подыхать не собираюсь!

Во дворе прокричал петух. Пора было уходить. Исмаил подошел к окну, прислушался, спрятав цигарку в кулаке, и проговорил:

- Ну, что онемела? Припрячь мясо, вари его по ночам, а кости закапывай в сарае, да поглубже, чтобы собаки не разрыли! Он еще раз затянулся цигаркой, нижняя часть его лица озарилась красноватым, зловещим отсветом, из мрака выступили мокрые губы, хищные ноздри. Потом он бросил окурок на пол, придавил ногой и вышел.

** Курган - заброшенное глинобитное строение.*

Чем светлее становилось за окном, тем пристальней вглядывалась во двор молодая седоволосая женщина. Казалось, она выслеживает, куда прячется ночной мрак от света занявшегося дня. Обняв детский бешик, Сейде все смотрела, смотрела в окно, не отводя глаз. Там, за этим маленьким оконцем, целый мир, аил, народ. Там живут Курман, Тотой со своими тремя детьми, однорукий Мырзакул и Исмаил тоже... Да-а, Исмаил тоже... "Нет, ты не похож на них... Тот, кто в беде покидает свой народ, волей-неволей становится его врагом! Не сумела я уберечь тебя от этого, да и не смогла бы уберечь!.."

Сейде собиралась. Уложила в узелок пеленки, надела чапан, туго подвязалась веревкой, как это делала соседка Тотой.

Возле дверей Сейде остановилась и задумалась, держа на руках сына. Он спал, ничего не ведая, только поморщился и повертел головкой, когда на лицо капнула слеза матери. Потом Сейде подняла с земли торбу с мясом, взвалила ее на плечо и решительно шагнула за порог…

Сейде шла по едва приметной в чийняках овечьей тропке. За ней следовали Мырзакул - он ехал верхом на лошади - и двое солдат с винтовками.

Часа два назад командир воинской охраны туннеля приказал солдатам отправиться в соседний кишлак в распоряжение председателя сельсовета. Сейде шла в Малое ущелье, к чабанам. Больше она никогда не вернется в этот аил.

Солдаты тихо переговаривались между собой.

- Слушай, эта та самая, у которой свели корову?

- Да, по всему видать, она.

- Выходит, выследила его. Молодец баба! Только на кой черт она тащит с собой дите на руках?

- А кто ее знает! Чудная какая-то, ей-богу! Давеча председатель ей говорит: садись, мол, на лошадь, ты же с ребенком. А она ни слова в ответ, повернулась и пошла... Гордая, видать...

Когда они добрались до обрывистой балки, поросшей камышом и дикой талой, Сейде спустилась вниз и приостановилась на повороте.

- Вон там, за камышами! - показала она рукой, и кровь отхлынула от ее лица. Не сознавая, что делает, развязала узелок платка на шее, присела и сунула ребенку грудь.

Солдаты осторожно двинулись вслед за Мырзакулом. Приближаясь к камышам, Мырзакул занес ногу, собираясь соскочить с лошади. И в эту минуту впереди раздался окрик:

- Эй, Мырзакул! Назад! Мне один конец, но и тебе не сдобровать! Уложу! Убирайся!

- Руки вверх! Сдавайся! - крикнул Мырзакул и пустил лошадь вперед.

В балке грохнул выстрел. Сейде вскочила на ноги. Она увидела, как Мырзакул привалился к шее коня, как он судорожно цеплялся одной рукой за гриву и как обрубок другой руки беспомощно дергался в рукаве шинели. Потом тело Мырзакула обмякло, и он кулем свалился на землю.

Тем временем солдаты открыли стрельбу. Исмаил отвечал частыми, беглыми выстрелами. В горах загремело эхо.

И вдруг один солдат вскрикнул не своим голосом :

- Эй, маржа!* Куда ты? Назад говорю! Назад! Убьет!

С сыном на руках, в платке, упавшем ей на плечи, Сейде шла к камышам, в которых засел Исмаил. Она шла спокойно и твердо, шла так, будто ей ничего не угрожало.

Губы ее были тесно сомкнуты, глаза широко открыты, и взгляд их тверд. В ней чувствовалась огромная внутренняя сила. Это была женщина, которая верит в справедливость и в свою правоту. Шаг за шагом приближалась она к камышам. Солдаты растерялись. Не зная, что делать, они кричали ей вслед:

- Назад! Повертывай назад!

Но Сейде даже не оглянулась на крики, будто не слышала их.

На какую-то минуту звенящая, бездонная тишина сковала горы. Солдаты, укрывшиеся за камнями, Мырзакул, распростертый на земле с судорожно сведенными пальцами единственной руки, нависшие скалы и далекие вершины гор - все оцепенело в напряженном ожидании. Вот-вот раздастся выстрел, и женщина с ребенком на руках рухнет на землю.

Страшную эту тишину нарушил ветер. Волной прокатился он по верхам камышей, ударил Сейде в лицо и сорвал платок с ее плеч. Но и теперь ни один мускул не дрогнул на ее лице. Гнев и решимость вели ее вперед. Высоко подняв голову, прижимая сына к груди, она шла, не страшась смерти, во имя высокого долга.

- Стой! Стой! - с отчаянием кричали солдаты.

Сжимая винтовки, они кинулись за Сейде. И в эту минуту из камышей выскочил Исмаил. Был он в рваной серой шинели. С перекошенного, измученного лица, заросшего бородой, катился грязный пот. Задыхаясь от ярости, он поднял винтовку для удара и грозно двинулся к жене.

Все больше сокращалось расстояние между ними. Вот они сблизились вплотную, лицом к лицу. И он не узнал прежней Сейде. Это была другая, не знакомая ему женщина: седоволосая, с непокрытой головой, она бесстрашно стояла перед ним, держа на руках сына, и ему вдруг показалось, что она стоит высоко, очень высоко, недоступная в своем скорбном величии, а он бессилен и жалок перед нею.

Исмаил пошатнулся, с силой швырнул винтовку навстречу подбегавшим солдатам и поднял руки.

** Маржа - от слова "Мария", обращение к женщине.*

ХУРШИБАНУ НАТАВАН

ФИАЛКА

Как небеса ты расцвела, фиалка.
Ты все поля себе взяла, фиалка.
Зачем ты роскошь цветников отвергла,
Зачем поля ты предпочла, фиалка?
Ты шелестишь, как будто боль и старость
Ты в юности перенесла, фиалка.
В тебе весна влюблённость пробудила -
Любовь всегда была грустна, фиалка.
Мне кажется, что локонов любимых
Ты нежный запах донесла, фиалка.

(перевод Г.Глебова)